

АЛЕКСЕЙ
ГРЯКАЛОВ

ЗДЕСЬ
НИКТО
НЕ ПРАВИТ



Алексей Грякалов

Здесь никто не правит (сборник)

«Геликон Плюс»

2015

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Грякалов А. А.

Здесь никто не правит (сборник) / А. А. Грякалов — «Геликон Плюс», 2015

В новую книгу известного петербургского писателя и философа Алексея Грякалова вошли роман «Найденыш в табаке», повести «Молчание дней», «Слепой Орёл / Зоркий Крот», рассказы. Произведения объединяет единый замысел – человек в трагических реалиях современной войны, в преодолении абсурдности повседневного существования, в проблеме выбора языка и любовном утверждении жизни. Творчество писателя отличает философский взгляд на современность и предельное внимание к событию слова.

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Грякалов А. А., 2015
© Геликон Плюс, 2015

Содержание

Найденыш в табаке, или Счастливый хохол	6
1. Психоаналитика	6
2. Голуби в храме	15
3. Амазонки и Нюрочка	20
4. Переселенец	29
5. Старые, старые страхи	33
6. Молитвы по краю	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Алексей Грякалов

Здесь никто не правит (сборник)

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

© Грякалов А., текст, 2015.

© «Геликон Плюс», макет, 2015

Найденыш в табаке, или Счастливый хохол

Роман пропащего языка

*І шумить, і гуде,
Дрібний дощик іде,
А хто ж мене, молодію,
Та й до дому відведе?*

1. Психоаналитика

Раньше все туда, а я оттуда.

А теперь все оттуда, а я туда.

Даже слова друг в друга, почти любовная плоть. Сам апостол Андрий по Дону в скифские земли проплывал – остались в пещерах Дивногорских на стенах кораблики и пальмовая ветвь, как в римских катакомбах. Да ведь все видимое странствующий тут Сковорода считал только тенью мира невидимого. И хоть мир двойственен, но в то же время един: вижу начало – один центр и один умный циркуль во множестве их. И ты без сомнения знаешь, что так называемое нами око, ухо, руки и ноги и все наше внешнее тело собою ничего не действует ни в чем, но все порабощено мыслями нашими. Мысль-владычица находится в непрерывном волнении день и ночь. Она рассуждает, советует, определение дает, понуждает. А крайняя наша плоть, как обузданный скот или хвост, поневоле вслед.

Так вот видишь, что мысль есть главная наша точка и средняя. А посему она часто и сердцем называется. Итак, не внешняя плоть, а мысль – то главный наш человек.

В ней-то мы и состоим.

Какой мыслию можно остановить войну? Ведь сроден человек божественному замыслу о себе. Жизнь человеческая единственная и неповторимая, поэтому мера только счастье. Но смертному быть во временном мире счастливым невозможно. Увидел в счастии превращение, в друзьях измену, в надеждах обман, в утехах пустоту, в ближних остуду.

И чтоб понять, Моисей слепил книгу. Случайное теперь схвачено стяженностью, случай стал действием и судьбой. И над каждым висит полная перемена участи. Ведь обитаемый мир касается тварей. Мы в нем, а он в нас обитает. Моисейский же символический тайнообразный мир есть. Он ни в чем не трогает обитательного мира, а только следами собранных от него тварей путеводительствует, взирая на вечную твердь. И еще пятнадцать столетий назад византийский автор Прокопий Кесарийский поразившую его особенность отметил, сообщая об обычаях славян: «Судьбы они не знают» – не знают непреложного рока. Принимают лишь судьбу-фортуна, которую можно уговорить и с которой можно договориться. Не признают непреложную судьбу-фатум – сейчас бегут, чтоб своих спасти и спастись. Из всех книг выстрочники-человеки сейчас по земной тверди кто бегом, кто скоком, кто ревом машинным через российскую границу. Кто возле ростовского Миллерова документы собрал, скорей порскнуть со своего надела, если начнут стрелять из-за украинского кордона.

В Кантемировской слободе беженец смотрит на пустую дорогу: куда править?

Потерянные почти в немоте.

А в сторону, где Северский Донец, проеду? Мост вчера взорвали, по полям в объезд, перед этим через Толучай, через Потудань, через верховья Дона. Вспухнет вода в Толучае

совсем не от талых снегов. Даже когда перестает греметь, в ожидании слышно – на слух-свет выходит в любое время то монстром военным, то бесом природным.

И не дается. И страшно много этим летом змей в прибрежных камышах и осоке Северского Донца.

А уж десять лет назад выправил Андрей Литвин сборник анекдотов для начального чтения по методу Ильи Франка – на желто-голубой обложке стоит жинка со стаканчиком, кофта в квичточках. Рядом в вышиванке длинноусый – правая рука за ворот, большой палец вверх – довольный *Homo Erektus*. Так гомонят ладно, чтоб захотелось каждому читателю-москалю выучиться украинской мове без стресса. Без механического поиска каждого слова в словаре. Без бесплодного гадания: «Что же все-таки значит фраза, все слова которой вы уж нашли?».

Начинающие изучать иностранный язык могут при этом читать сперва адаптированный текст, а освоив его – оригинальное приручить. А тем, кто уж способен улавливать смысл текста на языке оригинала, лучше поступить наоборот: читать текст без подсказок (второй вариант), а по мере необходимости заглядывать в подсказки (первый вариант).

Что ж, доминус Франк Илья, поступим. Не с руки же каждого тащить на детектор брехни.

И со страниц каждый анекдот явно и тайно вытребенькует. Да не как честная горилка у полковника Тараса Бульбы, а как черная вода, что потянул колдун гоголевский прямо из фляжки. И после первого же глотка перво-наперво вирішили два хлопці пойти москалів постріляти.

Взяли шмайсери, идуть Львовом.

Аж бачать – стоїт хлоп. Мужик себе стоїт.

Ниби чекае на когось – вроде ждет кого-то. Один до другого каже: «Піди спитай, щось у нього... мабуть, вин москаль».

Підходить до хлопа, питає – підходить к мужику, спрашивает.

– Чи ви когось чекаєте? (Вы кого-то ждете?).

– Чекаю, чекаю!

– Ніби українець, нашою говорить. (Вроде украинец, на нашем говорит).

Перший повертається – первый ко второму вернувся. Другой до нього:

– Так піди спитай по-їхньому! (Пойди спроси на их языке!).

Хлопец знову підходить до чоловіка, питається – снова спрашивает:

– Скажите, ви каво-небудь ждьоте?

Чоловік нагло достає з-поза спини шмайсер.

– Та я вже й дочекався!

Дождався пули в правое колено.

И возвращаюсь, сильно хромая, супротив себе самому по самой первой дороге, когда из Черкасс на Дон. Как раз сейчас через Дон переправа, потом Богучар – сторожевой городок, потом через Миллерово на Каменск, потом на Ростов. И встречает ветром гонимый дым в полнеба с той стороны, знакомый шахтер проведет ночью по разбитой дороге – утром шагну в растоптанную и разъезженную землю войны.

Но сперва в исток – как двести лет назад по бездорожью, горячий деготь со ступиц колес капает в пыль, воловья моча из стороны в сторону по песку и пыли. Не успевают колеса арбы десять кругов сделать, следы на песке вскипают желтой пеной. Не останавливается поход весь светлый день. Да ведь внешнее, учил Сковорода, таит в себе внутреннее.

А не отвернуть – по бокам сплошь бездорожье.

И черная хмара уже на все небо, места такие, что среди бела дня дикий вой налетел. Как будто бы из логова придонских лесов волк не совсем так воет? И не вернуться в черкасские родные места из новых придонских, тут еще степняки по краю степи в мареве бродят. А приручить места, выбелить стены, которых еще нет, разукрасить невестами – откуда женихи в

дикой степи? Волков вытравить, лисиц разогнать, чтоб не приближались к зазевавшемуся под плетнем певню: кто без него на заре нечисть пугнет?

Сердце болит?

Навстречу чумацкий голос.

Ой волики ви мої,
Да воли половії,
Ой і де будем ночувати?
Ой у широкій долині.
Ой волики ви мої,
Да воли круторогі,
Ой і що будем вечеряти?
Да кавуни та дині.

Куда скрыться в диких местах? Только до коханочки на вечерю.

Ой волики ви мої,
Та воли одномасні,
Ой і де будем ночувати?
Та й у дівчини Насті.
А що будем вечеряти?
Та перепелочку в маслі.
Небагато чумаки з'їв:
Тільки крильця, реберця,
Заболіло в чумаченька
Коло серця, коло серця.

Ни дивчины, ни вечери, ни кавуна, ни дыни.

Одна тушенка осталась, хлеб кончился – дед с ополченцев требует за хлеб сто зеленых: «Пусть бесплатно ваши командиры дают... Надоела война». У бардзо гоноровых поляков завтра отобьем запас галет, натовскую форму и голландское пиво.

А Ганна из самой первой припевочки меня не дождалась. Да ведь никогда по своей воле, сказал мне командир ростовского СОБРА, не ходи на войну.

Беспокойно, несусь в сторону Славыанска.

Обізвався козак,
На солодкім меду:
Гуляй, гуляй дівчинонько,
Я й до дому отведу.

Я бы тебе, моя радость, руку на плечико положил, никому тебя не отдам.

Где твои окна в гостинице университета итальянского Турина, откуда получил прошлым летом два письма? В одном сообщен адрес, а в другом желание, чтоб не было в наших местах войны. Откуда ты знала, что война скоро будет?

Всегда помню, как ты в весеннем предутрии дышишь у меня на плече.

И как сказать? С нашим языком богучарским только до Калача. Никому не высказать – никакой психический анализ хохла невозможен: какой такой в пустой пробирке козак-пациент?

Всех хохлов сразу не уложить на кушетку – ни москалей, ни европейцев не хватит. Сам собой, в словах заплетаясь, на кушетку майдана двину вверх и вниз. В сторону головы – на Славянск, родная сторонка Верхнего Дона – в гудящих ногах. И письмоцо посередине в разломе течет в две стороны. Черепком полуразбитым накрою трещину – колоброд от пупка собственного вверх-вниз.

Круть-верть – под черепочком смерть.

На майдане Одессы разливают девчата по бутылкам горючую смесь. С улыбкой веселой... дивчинка веселенька, что ты за человек? Сразу смех в ответ: чоловик на мове – это мужчина.

Что за люди? Очень в дорогу билет дорогой, ни одной вольной гривны в кармане. Хотя архетип бессознательного в полуночи вызвать, а в присланном американцами приборе ночного видения мельтешат бледные белоглазые тени. Да страх-переполох вылить потом – над животом ножницами почикает последняя знахарка сухой чабрец, зажжет свечечку, воском покапает в холодную воду! Застынет фигурка – видишь ручки-ножки, голова на шейке из воска отвалилась крошкой на донце? Если в полдне горючей смесью на перегретый асфальт плеснуть, что за фигура черная выгорит на одесском асфальте?

Нет страхов, смеются девчата. Следят, чтоб не пропало зря ни капли горючего зелья.

А Михайло Михайлович, по рождению богучарский хохол, как раз сейчас в Австрии на кушетку уложен старым эмигрантом из Коростеня. Хотя хохлами звать скоро совсем запретят, один богучарский уже настроен, как чеховская скрипка Ротшильда.

И через десять бесконечных хвылын невиданно для полковника зарыдает. Ведь будто все давнее слетелось на дымок из трубки аналитика – запах цветков табака, в котором пациент заснул пятилетним. Ведь под каждый вечер начинал дурманить цветущий табак. Из не рассказанных никому снов пошел пятилетний, отдаваясь от всех, голоса слышал будто во сне, к речке близился, крутому песчаному бережку. Сейчас вытечет песок из-под босых ступней – бережок невысокий, в космах зеленого куширя, потянет на дно течение в крутом прияре. Запах табака вспомнился, куда опрокинула вдруг кушетка. И омок-бред по любым переживаниям без брода, без моста.

Главным словом, вывезенным из Коростеня, тронул вкрадчивый эмигрант: «А ненька... любила тебя, Михайло?» – в один спрос выкрал покой и свободу. Дал выговорить, будто до этого не давали. Ведь симптом – это голос существа, предположительно способного заговорить. И если заговорил, то от немоты, разумеется, исцелился. Но вслед старому голосу сразу материн почти девичий голос: «Ой, Минька, Минька... сынок! Не кажи ему ничьего!». И почувствовал: в полмгновения между словами вдруг тайно вызверилась и длится давняя непоправимая какая-то зрада – после слов старика-эмигранта неостановимо взрыдал в неприкосновенных объятиях.

Никогда, никогда.

Этого хватит, чтоб себя восставить? Измена... зрада.

А что не так? Да ведь и это уж было всегда. Не добратся до самой души – любой богучарский хохол сызмальства знает, что душка в том самом месте, где встретились шейка и грудь. Покоится в колыбельке! Но какой-то неясный брод старик колыхнул, дела нет до меня со всей теплой душкой, ему надо выловить слово, чтоб понятно было, что на самом-то деле есть. Да и не просто бред шизофреника: лучшее от немца есть в хохле, лучшее есть от англичанина, лучшее есть от китайца, от москаля только ничего нет.

То солдат, то бродяга... не верь, дивчинка, покрыткой сделает. И побредешь с младенчиком! Бред такой, что всему сразу отказ... чистое желание все поменять. И верное будто бы совсем рядом – выкрикнуть на кушетке майдана.

– Запорожцы тут... Тарас и Бандера! И все за правое дело.

То делать, что сам Тарас в рассказе старого изгнанника описал: резали так, что визжали, как свиньи.

И приближается непонятное существо в словесной ночи – днем на свету сразу бы без австрийского сеанса различил и обезоружил. Солдат полуночный в запевку вжился и повел Нюрочку молодую домой после кинокартины про партизан.

Не отстраниться даже ясным третьим куплетом.

Не веди ж ти мене,
Не прошу я тебе,
Бо лихого мужа маю,
Буде бити мене.

Мужа лихого нет, не было и не будет, и ждать особо некого. И не то чтоб так уж поголовски страшно. Но почти невоюет одной. Нюрочку, перепутав с Настей из чумацкой песни, солдат случайный проводил. И странно молчал всю дорогу на счастье. Может, немой или контуженный. А крепко под ручку взял, шаг ее под свой нервный подладил. В лад шли друг с другом, левая ее грудь касалась его правой руки. И сразу отстранялась, чтоб через короткий шажок мигом прильнуть.

Проводил и на пышной довоенной перине заночевал.

Да под утро самое влажное вдруг закричал во сне. Зарыдал и завыл! Затужил по-бабьи, как будто всех сразу и себя самого потерял-потерял – ни росточка наперед, ни сыночка! Голос человеческий, да будто бы не совсем. Руку ее откинул, по локоть в летнем загаре, одеяло в угол метнул – в предутрии тайная природа хохлушки молодой пребелая-белая! В темноте одежду на себя, как будто тревога, – через минуту grimнула дверь.

Солдатик немой любовный пропал. Будто спешил отстраниться от нее и от всех. А вышло, что ее вместе с собой через порог навсегда выкрал в туман.

Где покинувший сразу после трепета постоялец?

От чего-то страшного на заре побежал. Будто бы не совсем человек – уже не нука природный, но еще и не приученный конь. Будто посредничал между домашним и диким, и сам знал, кто такой. Ведь кто в рубашке рождается, а кто в уздечке. Платил кому-то дань существования, не мог жить, как все. Любить только в рыдании разлуки, косноязыко рождает слова, не проясняемые до конца ни для кого. Только так и можно, и она ответила во встречном рыдании. И подумала, что это просто ранее никогда не переживаемая ею любовь.

А Минька-сынок в марте нашелся.

Переносила чуть не полмесяца – не спешил на свет. И сразу от перерезанной пуповинки как будто уже странно стал виноват. Не хотел брать грудь – она приклоняла, припадал, будто нехотя. И впервые улыбнулся, когда увидел коня. А потом ему часто снятся кони – гнедой к болезни, а белый неясно к чему. Вороной не появится до самой смерти. Но среди всех свой собственный конь-брат, который никогда не покидал.

И когда подрастал, будто бы все как-то чужевал рядом, а потом во взрослых письмах природную ласку совсем скрадывал язык. И она всегда знала, что покинет. Как тот, от кого зачат, – ожиданье любовности не в одной заре, а во всех зорях каждый раз заново. Будто бы не совсем желанный, и не ко времени в случайную скачущую жизнь. И с тем солдатом порскнул, как дикий волчок в ночь. Сам себя погнал – сразу и человек-волк, и человек-лошадь. Неуместный, будто места своего не было для того времени, когда зачат.

А раз ни логова, ни выгона, то и ума нет.

Ума уместного неостанет во всем побеге.

У нее слов не хватало русских, чтоб все понять, а все вокруг так быстро будто бы научались на нем жить. Но у нее сохранялось такое, что совсем не нуждалось в словах. И те, у которых слов становилось пребогато-богато, не знали того, что понимала почти безмолвно она. У ее понимания свой язык, почти немота-свидетель, сбившийся со своего следа, на чужой следок

не напавший, полуживой родничок. Странное невегласие... тихое вежество, почти исихийское дыхание – так ее молчание переводили на свои слова яркие женщины, что потом приезжали вместе с ним. Они все о ней одинаково знали, будто просвечивали. А ей хватало слов и ночных мыслей, а в слезах слова были совсем не нужны. Можно было вслед солдату, что пропал на заре, просто и страшно подвыть о пропавшем. И те слова, что рождались среди других людей, были почти полунемые и полунагие, с неясными лицами, почти безбровые, лопухие, на хилых, как у бледных грибов, ножках-ногах. У всех вокруг много слов, а у нее свой голод. Их научили школа и радио, она знала только то, что всегда знала. И для жизни вполне хватало немногих слов, зато таких и не было больше ни у кого. Когда плакала, что его рядом нет, она и о том плакала, что никогда не увидела больше солдата, что с нею провел одну ночь. И его жалела... где ты? Думала, он на какой-то войне. Призывающие слова стали почти как звуки животного или неприручаемого зверя, непонятно какого обличьем, но близкого и нестрашного. У других, думала, такого своего существа рядом не было, а у нее всегда под рукой.

Никто так надолго не оставался и не был с ней, как тот ночной солдат. И понимала, что собственный сын был будто бы чужестранец. Там, где он теперь говорил по-русски, был признан, его слушали даже в Кремле, при ней он будто бы тяготился родовым косноязычием. Она это знала, и он будто бы начинал иногда понимать, но никогда не доходил до конца или до начала, скрытого полночью. Апокалипсис лингвистический – выразился учитель за столом, когда Михаил приезжал в гости. Местные умники говорили про конец света, что прописан в самых последних листках Книги. А кто до конца прочитает, непременно сойдет с ума.

Конец света мог показаться в любом дне – когда Михаил был на какой-то очередной войне, она так жила. Он будто бы продолжал тот забег, что на заре вырвал солдатику-пленного из жаркой постели – теперь все довоевывал посреди мирных дней. Зверь войны бессловесный и ненасытный будто бы только показывался... запах армейского одеколona или коснувшийся его голоса и лица неустрашимый налет войны долетал по ветру из любого конца света. И конец света был не один, чтоб раз навсегда, а всполохивал молоньей – хватило бы каждому. И сын Михаил-Минька часто затихал в новых погонах посреди любого веселья.

Не происходило какой-то желанной тишайшей и верной встречи. И сейчас, уложенный на кушетку австрийцем из-под Коростеня, Михаил еще больше отдалился от ее языка и понимания. Он на войне – то в Африке, то в горах, то на своих окраинах, будто следовал за солдатом-отцом, чтоб тот не остался один на один – даже рядом с белевшей в темноте женщиной взревел страшным голосом войны. Шел вслед тому, кого никогда не видел. За тем самым солдатом, которого она только один раз успела обнять. Почти прирученный и домашней едой вскормленный волчонок всегда поглядывает в сторону невидимой из-за плетней дикой воли. На луну подвывает, цепь стальную грызет. И хозяин-охотник, выходя в предутрии из подступившей вдруг домашней тоски, сам готов порскнуть вслед волку в дикое поле.

Еще раз: круть-верть – под черепочком смерть.

Да под каким таким черепком?

И растакая-какая раз за разом почему приключается неустрашимая измена-зрада? А никакой хохол измены чужой не терпит, он сам при случае может. Вокруг сильны вороги отбирают пироги! И жабой мерзкой зрада из темноты ползет от подошв к животу до самого сердца.

Да кто меня не любит?

Ненька родная!

И любят же, и поймут. Со всеми хохлами, что поденной работы ждали год назад на при- базарных российских майданчиках, по-свойски. Но будто всегда виновен. И теперь, когда война, снова будто бы в сторонке – ни клятый, ни мятый. Никто повесткой не вызовет отставника-полковника, а своей волей на войну, как известно, не двинься.

Так потерял себя – ни места уместного, ни ума. Рыдай на кушеточке дерматиновой у старого, всё знающего аналитика! Хлопчиком малым вывезли его из славного Коростеня под Киевом, а хворобу Михайлы Михайловича сразу признал по-свойски.

И в другой раз вслед первому совсем тихо спросил аналитик:

– Ненька рódная любила тебя?

И будто бы снова от одной встречи – теперь на чужом дерматине зачат в каких-то совсем других словах. От чего-то чужого рожден изначально чужим, даже солдатиком-постояльцем побыть судьбы нет. Порожденье чего-то не совсем явного – выкрали у самого себя, и сам для себя чужаком выкрал чужую постель и бессловность.

Был существом из сна, о котором не говорят никому.

А она больше всех на свете любила его, ускользящего то на службу, то на войну, то к законным и незаконным женщинам-женкам. Любила будто бы и не его одного – любовно из своей невысказанной полночи. Вблизи проглядывала в какую-то дальнюю даль – глубже, чем всякая видимая и невидимая. Уложенный на кушетку в Австрии, он тоже сквозь невозможные для бывшего полковника советской медслужбы слезы начинал прозревать то, что она видела всегда. То, где уже всегда уязвлен и тайно обеспокоен. Еще не страх и тревога, а беспокойство не покидало. И не хотел поверить, что это так и всегда будет, сам переставая ясно понимать, кто он такой. Даже в такой близости не представляя себя, ему тоже не хватало видимых слов. Их иногда совсем не было, будто уже умер и не может ни спросить у себя, ни вернуться, чтоб начать заново. А те, кто были рядом, не могли ни слышать, ни видеть, хотя чувствовали присутствие, как будто бы кратчайше каждому показан собственной тенью полдня.

Кто такой?

Может, вслед Михайле кинуть себя заодно с братьями-козаками на кушетку? Чтоб сперва зародилось единое бесстрашное тело, а потом плоть буйная, желающая, хватающая, обновленная без оглядки жить. Такой единой ярой плоти никакой кушетки-степи не хватит! Воюют на Донбассе многие в жалкой принуде: когда выплатят гривны, где обещанные новые танки, где непробиваемые бронежилеты?

Где новые побратимы-немчины? Два раза за прошлый век маршировали по Киеву.

Что так мало ляхов в войске козацьем?

Где наказной атаман Абама?

А со мной собираются на войну все, кто тут ранее обитал. Первые переселенцы – острогожские козаки и теперь первые. Чумаки в черных пропитанных дегтем рубахах – такой камуфляж не прокусит никакой степной гнус, – везут соль и вяленых чебаков: в самый раз гуманитарная помощь. Нет же теперь в поселке Мироновский под Дебальцевым ни рыбки сухой на вечерю, ни соли щепотки в жидкий кулеш. Со мной повстанцы-калитвяне... осот, пырей, сурепка – на взгляд главоверха Троцкого и стрелявшего из пушек по куреням Тухачевского. Газом травил будущий маршал, ползли белые комья чрез лес в сторону четырех деревень. Со мной двинул дотанцовывающий советский гопак нынешний красный богучарский пояс. Два раза пережили немцев, по одному разу румын, мадьяр и итальянцев, сейчас оглядывает сверху всю степь остроносый коршун с американского эсминца.

Подводные лодки в степях Украины.

Падайте, козаки-братья, чтоб отдохнуть хоть на кушетке... выблевать на покупантке-кушетке желтую желчь до последней горечи. Выговорить весь тезаурус изменницы-зрады, чтоб чернозем не отравить. Хватит почвы, чтоб горечь истлела? А то немцам и вывозить не потребуется – гумус присвоят себе на всю глубину.

Выговорить, задыхаясь, непонятный самому себе малохольный струмок слов – бежит хлябающий поток. Но никогда в жизни не признается ни на какой кушетке в чем-то самом главном ни один трезвый хохол.

Да кто ты такой, черный пес из подземелья?

Кто я такой?

Укусил бешеный – сметает ветер с богучарского шляха все слова на кушетку верховий Дона. Неужто до австрийского аналитического сеанса прожил никем серьезно не спрошенный?

Тут же свои, из книжицы Ильи Франка, без австрийского аналитика ранним ранком уже под окном.

– Мишка-а? – Выходь! Сало есть, горилка есть! – ждять-пождать, нэма козака. – Михайло? Огирок есть, водка есть! Выходь!

– Та не могу!

– А чому?

– Та и-и...бусья, будь они неладны!

Бусы перетекают... бусья-бусы – позолоченное монисто на мягкой шейке. Страшно влюбчивы хохлушки, у кого на затылочке столь глубокая ямка! Вдохнуть запах, а с ним степную ночь или что-то в природе все превосходящее. Девчата, как вы хороши! Не оторвать от завиточка очей – из разных мест, из разных дней, разными глазами.

Да никакому европейскому черту никогда бы ни за какую валюту!

А в общем прикипевшем любовном взгляде со мной два дезертира, семнадцать полковников и весь Острогожский казачий полк. Тут же служивые за все года слободские казаки – соседи и подсоседки. И еще хохол-профессор из Красноселовки и два доцента из Богучара. Тут же десять тысяч сейчас ждущих пенсии неудалых южнорусских хохлов и даже вечный директор школы, что в воспоминаньях не может оторваться взглядом от шейки десятиклассницы – позади класса плечом подпер южное горячее полушарие, под Кенигсбергом ранен навечно в пах. И еще раненых за последний год человек двести в больницах и госпиталях Ростовской области и Воронежской губернии. С нами земляк – главный генерал-летчик, он защитит всей воздушной силой.

Ощупью помудровать, помандровать всей неохватной женскою степью. Всех на свою собственную кушетку! – Из-за ажурного плечика зачерпнуть любовного пожелания: пейте, хлопцы, пока каплет! Да ведь не просто течет Толучай – Гераклитус-грек доверил Сковороде: чуть зачерпнул, чтоб напиться, – иссякла водица любая.

Не просто все течет, как везде, тут течет, как дырявый горшок. Не успел к губам поднести – вытекла водица, жди теперь, когда привезут воду в разбитый тербатами Славянск.

Еще раз зачерпнуть, приласкиваясь, Толучеевка обмелела, губы царских и советских плотин растрескались, Криуша в сухой осоке, Потудань заросла, Сухой Донец пылит пересохшим горлом, Северский Донец в заросших берегах и змеюках. Зато вплелись во все теченья белые космы сахарного завода в Россоши, ржавые пятна завода кишок в Калаче поползли в Дон. Плышет дерьмо частника-свиновода – нет ничего хуже нового русского хохла. А древние стражи-бродники справедливые, что степь и воду оберегали, давно перебродили и выбродили – почти каждую речку вброд воробей перейдет.

А впору бы революционного петуха начать под стрехи пускать?

Сползает закраинами в течение распаханый берег, будто земля бессловесной воде мстец. И шейка неприласкана – за кого тут теперь замуж выйти?

Одни пьяндыги!

Были охотники-зраки, остались опойцы-призраки. Деды были казаки, батьки – сыны казачьи, а мы... зевнул оравнодушный рот – следы собачьи!

Бачь-зобачь – смотри-посмотри.

Из гаубиц по Славянску и по Донецку.

Чернобровая, давай хоть за меня выйди или за кого-то из слободских казачков. Со мной еще два героя, орлы боевые точно бомбили афганские ущелья, теперь вдоль своей границы небо хранят. Украина-ненька давно нас по-советски забыла, теперь жадно вспомнила, чтоб слободских казачков подманить. Мол, теперь все это самые настоящие украинские земли! Зазы-

вает... бывшие земляки будто бы не совсем в здравом новом уме. Как говорил философ Хома Брут: это будто бы не природный волк воет, а что-то совсем другое. Чужого приманивает, лишь бы кто-нибудь заплатил за ночь.

Не идет хохлушечка, не хочет, не верит.

Нюра, Анна по паспорту, Ганна. Лоно от страха пересыхает, стреляют и бьют, выгорает все, высухло. А жизнь лона влажная, теплая.

Как же, как же.

Как жить? Любота теперь только за иностранные гроши. Насилия больше и больше – то посреди заросшего огорода, то в лесополосе, то на бывшем семейном диване навалилась туша национального гвардейца на донбасскую Ганну.

А на юге бывших слободских поселений нашли уран и никель: все слободские земли надо бы вернуть украинским олигархам. Павловск, Богучар, Острогожск – землю под насилующий язык.

Зато каждого называть важно.

Пан.

Но подавно не нужно. Подавно... как подавиться. Ведь ежели у какого хохла большая сзади на шее ямка, тоже страшный влюбчивый в чужое и брехун. А детекторов брехни на всех не напасешься, да еще приборы брешут. И пока брешут, брошенным на кушетку брякнуться.

Я тверезый.

А нацгвардеец-наильник почти всегда пьяный.

2. Голуби в храме

Еще прошлой зимой хотел.

– Алло, алло! Виктор? – другу позвонил в Запорожье.

– Слухаю!

– Поедем... на майдан!

– Сам не поеду и тебя не пущу.

– А жизнь как?

– Не по телефону... Полезли – по морде дали!

И не пойму до нынешнего июля: кто полез и кому дали? Какое-то чужое все время лезет, такое же чужое в чужую морду дает. А будто бы все свое: будь неладно, как утомительный рефлекс-секес.

Я русский хохол, потому, как уж сказал, с нашим языком только до Калача. Язык... полова, суржик, почти как субчик, смешение невероятное. Начинал говорить на повседневной мове, и не знал, что это язык на время. Не прорастет, не зацветет, коханочку не приветит. И с семи лет говорю на другом.

Да мат хоть для связки слов.

Язык не дышло, про что сказал, того не вышло. Среднего рода дышло бьется в упряжи меж правым и левым, превратиться может в дышину: языковой насилующий фантазм. Как раз тут мелькнет исток того, что называют фашизмом. В комплексе невысказываемого – лингвистическая катастрофа.

Я всегда уязвлен.

Я так себя ищу и не нахожу. Вот рука старого хохла-плотника бережно на табуретку уложена рядом с кроватью, набита осколками, тяжелая, как кувалда. И когда выпьет – каждому, кто встретится, под самый нос русское поднесет: «Я научу свободу любить!»

Никакой психотехнике хохол не хочет быть подвластен.

А тут гранат мало, снарядов мало, сала и хлеба мало, бронежилетов мало, гривен мало – как прилюбить? Бабы без своих на майданы и улицы: «Дайте нашим гранат и снарядов, чтоб террористов побить». Только одна сказала: «Хватит войны». Будто бы уязвлены нехваткой того, что у других есть. С гривнами обманул олигарх, офицеры почти все зрадники.

Лучше бы поспал-полежал, отдохнул на кушетке: «А шо вы говорите?» – бунинским липецким спецмоскалем передразню сам себя. А ничего не говорим – в Петербурге никто не крикнет под окном: выхо-одь!

Даже под анекдот не подстроиться заброшенному слободскому казаку.

Эй, хлопцы-гуртоправцы, чумаки, казаки слободские богучарские, острогожские, павловские, электорат красного пояса! Качели праздничные на слободском майдане качнем, сверху небо глянуло в очи, земля снизу дернет за уши к чернозему – не грохнись до срока, молодой почти в триста лет, слободской казачок! Войны нет на богучарской земле, урожай лета на бахчах богатый, бензина залиют столько, сколько скажу.

Да вдруг вслед всем на кушетку лезет раскопанный в Костенках первый дикий наших мест насельник. Может, оттуда только природная правда – дикая, непримиримая, одна в разных обличьях? И политрук немецкий еще с тридцать третьего года прошлого века вслед: «История человечества есть история войн». А самые страшные войны – цветные, где бедность соединилась с чувством недавней приниженности, две силы войны сложились в одну. Кровавая борьба за признание, война из соображений чистого престижа, архетип войны как таковой.

Люди умирают ради символов! – выкрасить все красным или синим и желтым цветом.

Тут на подхвате даже божественное.

Освальд Шпенглер писал о закате западных стран, а покати́лся закат на восток. Есть спирт-денатурат, а есть денату́раты памяти, что не дают пропасть той тревоге, что была вчера. И главное, чтоб перехватить оружие противника в гибридной войне.

Сразу в ответ-дорогу рыкнул японский лихой вороной. Заводится с одного тычка пальцем – вот уж завернул за просветы сосен, мелькая по шляху черным да серебром. И сам только отблеск на бледной памяти. И в даль – напоследок успела выровнять шлях советская власть, – изда́лека машина видна, из да́ле́ка дивчинка-пастушка кричит всем, что бежит повозка по шляху сама собой.

Без ко́ней!

Изда́лека видно – только не меня, а того, кто восемьдесят весен назад по этой дороге ехал на грузовике «АМО». Заглох на повороте, где солончак белый выступил зеленой водой. Застряла повозка без лошадей в солончаке посреди тверди – человек вылез чудной по-русски.

Пинает ногой сизые в пыли колеса. Гнутую ручку подал самому тому, кто подбежал первым.

– Как звать?

– Минька.

– Крутани... вкруговую!

И изо всей силы – рывком... кругая! С третьего оборота завелась машина, ручку выбило из храповика. Оторопело пастушок глянул на человека в кабине – трещины на желтой слюде стекла сделали лицо раздвоенно страшным.

– Ты что? – высунулось сбоку собранное лицо, еще страшней. Мотор взревел. – Ты что натворил?

– Оно само! – успел крикнуть, бросил гнутую ручку в пыль. И рванул в сторону от дороги, баранчики-колючки впивались в подошвы. Прочь, задыхаясь, упал через полторы версты, никогда так не бегал! Кипел нутром, будто перегретый мотор посреди солончака. В землю упал лицом, сил нет отвернуть губы.

Маты божа, царица небесна!

Земле шептал, чтоб не расслышал никто. А когда повернулся на спину, младшие трое со склоненными головами.

Над болезным анделы малые.

– Минька? – девочка в шепот. – Ты захворав?

– Зробыв!

– Кого? – еще тише. – Кого убыв?

И сразу из близких курганов-могил поволоклась вездесущая смерть бездорожно в полдень.

Закружилось вокруг. Самая страшная полдневная смерть.

– Правда, убыв?

– Ни!

– А шо зробыв?

– Мотор... выхватыв!

Как из чужой руки краюху.

Железный бык машинно запрыгнул на природную телкину простоту – степь, молодые бычки запрыгивают на телок, чабрец, пыль, смак по чреслам стекает в траву мимо лона, сейчас на земле мертво зря пересохнет.

Хохленок у русской машины мотор выхватил.

– На детектор брехни! Ты кто такой?

– Русский.

– А почему так разговариваешь?

– Не знаю... русский хохол!

– Ты что сделал? – орут вслед. – Шо ты зробив? – переведу на природный голос. – Ты из имперской машины что хочешь выхватить? Сам выхватился куда? Ты на Дону против царя с разбойником Разей? А раньше султана поддерживал? Ты против советской власти? Ты против колхозов был? А потом против Ельцина за райком? А теперь за колхозы против новой власти? Да ты против демократии!

А вслед навстречу из Киева подманивают мавки: иди к нам, слободской казачок! Ведь богучарские места наши... это ведь древние укры на Дон переселились. Будем в Украине против москалей воевать! Вернешься к своей ридной неньке-мове! Глянь на свое отражение в омуте – скакай с бережочка!

Бандеру не признаешь? В Росии живешь... россиянином стал? А на гиляку?

Сам свою церкву сломал – Петра и Павла свалил, не убоился самого Илью-громовержца. Сам себя раскулачивал. Может, ты против Кремля? Ты за то, чтоб слободскую Украину хохлам вернуть?

Так-так-так, хохол-краснопузик. Так, так! Забыл Украину-неньку, не хочешь назад Слобожанщину возвертатъ! Ты на каком языке говоришь?

И никто ответа не слушает – орут разом на двух языках, а я на своем староукраинском остаюсь, суржик сквозь школьный пушкинский языковой космос пророс. А старшина Улеватый советскому гимну неколебимо честь отдает – под козырек синего картуза построил ладонь. И шапки долой под гимн: будь чоловиком! Завтра вечером дружески толкну человека в плечо – качнувшись, наступит старшине Улеватому на хромовый передок. И молодого не увидать никогда больше, мог бы и он меня так навечно шпырнуть. Но долой-долой шапки! – при любой власти хохол всегда есть добрый служака.

Самого себя на кушетку шпырни-толкани из табачного детства.

И побежал, отругиваясь и огрызаясь, как кобелек: из детства! Запищал зайцем, за котрым сам же летел гончаком. Заячий писк: пи-и... здесь вам! Будто знал, что придет почти что свой из ставропольских – непременно всем и всему приключится вселенская зрада. Подал, понимаешь, антихрист Горбачу руку, перчатку черную сдернул демократично и толерантно, а на руке когти.

И когти рвать, пупы царапать!

И само собой следом под хрущевскую кукурузу, чтоб зеленей и ясней, чтоб выше. И теперь в разных обличьях несусь кругами по богучарским землям: меня на рассвете раскулачивать явятся – из обреза через окно вдарю. А когда на узком мостке-переходе начнут догонять, отстреливаюсь, пока патроны не кончатся. Кину ствол в воду: «Берите меня, нет ничего!». Бросятся... наган выхвачу, чтоб еще одному в плечо. Гранату под ноги! А сам в пещеры придонские, там колодезь внутри и церква, есть тайный вылаз на вершок взлобка, чтоб в свободную степь – где-то затеряться потом на донбасских шахтах.

И те, что вокруг майдана, тоже живут страхом?

Сейчас за нами придут.

И в квартирах в Харькове и Одессе бояться, зайдут сейчас четверо в масках с оружием. Направят стволы на всех – нечем жить. Или почти все давним страхом живут, себе не признаваясь.

Несусь сейчас, из стороны в сторону бросаясь, чтоб не попали прицельно.

Можно жить только там, где умер?

Но не Гоголь же по дороге в Париж или в Рим! Он до самой Швейцарии добежал. Успел попытать, правда: зачем да куда? Бальзам «Русская тройка» настоян на сорока четырех пользительнейших травах – не дает ответа. Жил в Петербурге, поэму про омертвевшие души начал писать в Париже, потом из галльского холода перебрался в Рим. Гоголю памятник выставлен на берегу Женевского озера: «1836 р. у місті Вевей жив и працював усесвітно відомий письменник Микола Гоголь (1809–1852), народжений на Полтавщині». И совсем неда-

леко: «Молодица без вредных привычек шукает работу сиделкой или няней. Все может!» – прилеплена бумажка на щите около украинской церкви в Париже.

(Как раз тут недалеко стреляли в Петлюру).

Ровно летит по дороге вкруговую заведенная напуганным пастушком машина – ни гнутых ручек заводных давно нет, ни самого пастушка, чтоб смог ручку из храповика выдернуть. «Да и не Гоголь... так себе, гоголек!» – припомню из записной книжки знакомого писемника.

Но ворон поперек трассы по-свойски признал. Я сам видел, как старый малого вороненка в четверток пречистый макнул на заре в серебряно-синюю Толучай. И пока взгляд скошу в зеркало, чтоб кивнуть ворону, ты над началом посмейся пока.

Москаль-зубоскаль!

Написал про Россию как подсознание Запада, а про Украину, что целостность вроде бы есть, а хребта структурного нет. Вот и страшно свой страх потерять, этого страшатся больше всего: чем тогда жить? И главное, чтоб никогда не посмеялся ты над концом. Ведь о чем любой конец: как сделать так, чтоб не было войны.

И слова русские, а шлях по-украински наш. Втягиваешь в слова, я почти всё уже знал до них. Москва губернским Воронежом и Богучаром уездным меня раскулачила – в меня мной самым из моего обреза стреляла, церкву мной обезглавила.

А тебя будто не видно нигде, кто ты такой, невидимый импелай?

Задрал голову, стою в Прогорелом, куда царь Петр доплывал. В церкви порушенной круг посередине из голубинового помета... меня в одичавшую стаю сизарей, чтоб испражнялся по кругу?

На твоём языке придумаю сам про себя. И не слезу с женки, во-первых строках моего письма: кроме объятья влажного какая ещё хохлу радость?

Почти ничего, кроме любви и водки.

Бывавший в этих местах мелиоратор Андрей Платонов любил потом говорить, что есть свободная, не приручаемая никем вещь. И пошел-пошел я такой свободною вещью – несусь вдоль сосен, сам себя на кушетку дороги выстелил, желто-зеленая цистерна с плохо покрашенной надписью «Юкос» передо мной, вдоль зеленой стены нового магазина «Дианка пелять» мелом написано, наверное, про собачку. Да скоро дождь смоем: мелок... крейда, сколок с белой горы, где монах вырыл для своего спасенья пещеру, – досталась спасавшемуся дезертиру. Мел по-немецки – *die Kreide*. Индоевропейские корни и местные кости вода вымоет, вниз снесет, хрустнут святого косточки или ребро неизвестного дезека, белые или красные – серые, некуда деться.

Откуда-то и куда-то стремились сбежать, но всегда вернуться. Даже трехнедельное пребывание в пионерском лагере кончилось тоской дезертирского зашвырнутого существования – так напала вошка-тоска. И не от чужих сбежать – немцы, мадьяры и итальянцы были на берегах Дона, а от себя.

А теперь, когда война рядом, бегут, чтоб просто спастись.

Сюда пришли из Черкасс, поначалу с нами пришло все сорванное со своих мест, стронутое, тронувшееся умом и местом. Куда, братцы, по степу примандровали? И как древние люди... почти антропоиды, бормочу русским хохлом, изучавшим в университете антропологию, склоню голову на колени к заботным рукам. Давнее слово – *помулять*, будто бы плоть сама себя приласкивает, зарастает родничок на темечке у младенца: на земле и на голове изначально одни роднички да кринички. Первобытно-природная ласка, у нас больше ничего нет. Груминг! – учебник по антропологии подсказал слово природного теплого существования. Наклоню голову над цинковым, из Москвы привезенным корытом – от вошек посыплют дустом голову, потом подустить корову и огород, вонючий глагол только в хрущевскую оттепель задохнется сам собой вместе с отменой яда. Злой дуст доднесь разъедает нутро детенышам кашалотов.

Как по украински кит? – на Украине киты не водятся.

А какое сегодня кино, уже известно – подводные лодки в степях Украины.

А какое завтра?

В ериках Верхнего Дона, в еще не распаханых землях Красноселовской слободы, в окопах Химченкова хутора, со взлобков меловых гор сверху вниз и снизу из сырых ущельиц выползал на брюхе местный природный страх.

А жучка всегда к сильному.

Телесным ущемленным потоком расползаются от майдана.

И от нынешних страхов спасаюсь прежним, чтобы приручить. Прошое не так страшно уже – вот рога волов покачиваются из-за бугра, соломенный самодельный бриль на черной голове погоньча – свитка свернутая надета на рог, скрипит колесо, чека сейчас выпадет, качнувшаяся вбок арба вырвет сидевшего на передке переселенца из объятий кратчайшего сна.

Из прерванного чужого давнего-давнего мгновенно схватит меня.

3. Амазонки и Нюрочка

Лопнет шина на скорости в сто сорок верст в час – мгновенно кинет на встречу. Кто-то из хмары небесной согласно кивает сверху: никогда, никогда, знай теперь, никогда!

Никогда, ангелу лучше знать.

И молодую из песни с невыветрившимся запахом дуста никогда до самого дома ласково никто не доведет. Хоть и мужа нет, хоть и некому ее бить.

Во всех временах одинакова Нюрочка – сейчас под подтеканье мелкого дождичка навстречу, шпагат вместо резинки в трусах затянут, чтоб кто не сдернул на смех. И желанно любовно ждет... на перине за всю девичью пору почти ни разу, то на траве, то в яслях на соломе, смешанной с сеном, пахнет сухой цветочек, то стоя, выгнуто напряженно, руки уже затылок мой голый гладят. Достаются одни стриженные, кто с войны, кто на войну, случайный родной, случайный... родной, некому больше приласкать Нюрочку. Только на скорую ногу! А ручку невиданно бы к губам, сейчас подношу, она недоверчиво не дает поцеловать в запястьице – там у людей нежно у всех. И вчера некому, а завтра только сегодня. И вчера сегодня, и сегодня завтра, непрерывный день-ночь, повторяю вслед блаженному из пещеры, что существует на свете всего один-единственный настоящий день. Шпагат врезался в почти неразличимую талию, сейчас брызнет горячим... хлопчик перегорел, влажное и горячее потечет по ляжкам.

Сама себе оплодотворение.

Нюрочка... Нюра!

Хоть бы не на молчок.

И откуда имена у одной разные? Анна, Ганна, Ганнуся! Нюся, Нюра... Нюрка-Нюрка, дурной рад цуцурка! Трясется в люботе красноокий крольчак... крольчонок еще. А если первая у него, до самой смерти запомнит? Первая Нюрочка. Может, вернется? – шепчет, пока перетекает влажным горячим.

Ночь апрельская возле воды с плывущими кригами.

Горячее частое дыхание в ухо, хоть бы словцо! Уж отстранился: закурить, Нюрка? Сопит крольчок-бычок. Пора к лодке, случайно кинокартина про партизан свела, молодняк войне будто бы подучивается – почти никто рождения двадцать второго года не вернется домой.

Нюрочке-Анне хоть в короткое удовольствие. Самое красивое женское имя?

Анна.

А ты такой?

Неприличное для хохлов слово – «ляжка» во влажном потеке семени – Наполеона жирные ляжки из школьного урока, – окропил спешащим горячим. И пока мирно в войну любятся двое, еще хоть миг поживу.

Уже изнасиловал пьяный укроп малолетку или еще не успел? И никакой шпагат бы не спас.

А страсть проникновенья в чужое тело будто бы избавляет от тошноты существования. Толчки злые, почти животные, чужое тело, разверзнутое в слезах, минутой назад в него можно было ненавистно проникать. Даже совсем без того, чтобы терять в нем себя. Такое тело даже не парник, где пробивалась рассада. Даже не собачья случка – там природная страсть, зад к заду кружатся посреди человеческой войны на виду у всех. После насилия тело стало картинкою для почти ненавистного смотрения, для равнодушия, потом для какого-то странного будто бы прихождения к себе: вдруг стало ясным на миг, что скоро на самого насильника будут глядеть, как на брошенное тело, текущее кровью не по природным кругам, а на сухую пыль. Уже глядят, и не отринуть этот равнодушный ангельский карающий взгляд. И сам насильник приобретал будто бы равнодушие ангела-карателя при человеческой жизни.

Но ангел-каратель посылаем был справедливо.

Нигде на войне не было такой агрессивности, что сейчас приползла на Донбасс. Ангел карал за прегрешения, а насильник готов поверить, что так надо. Только так будто бы можно было сохранить себя – больше не рассеиваться ни в ком, не растворяться, приобретая себе в довольствие все живое. И тут не было больше уже ничего, что можно желать и жалеть. Наконец достигал всего, что хотел.

Такая война убивает всех.

Только Нюрочка неполюбленная признает меня всегда.

И шпагат девственный вместо резинки, чтоб не так просто. Пусть жадоба, грубый да неумелый! А ласковым не бываю, через слово мат-перемат, в отупении скотину быю, цепь перекинул через развилку на стволе груши в своем саду... отхрипел пес Дозор. От меня соседи отворачиваются, потом забывают.

Я сейчас на войну.

Может, потому, что всегда людей быю? Я какой-то вечный человек-бой, есть такие, что всегда хотят воевать. Михайле Михайловичу так сказал в Австрии аналитик-земляк, а тому объяснял сам Фрейд: есть такие существа прямоходящие – *Homo erectus*, они будто бы не совсем от тех существ произошли, как все люди.

Ходит прямо *Homo erectus*, а живет окривело. И как только где война – сразу в первых рядах. И другие рядом с ним дуреют. Терпинкод или фенадол? Да что попало, тогда боли совсем не чувствует. Агрессивность ревмя ревет, приказам сопротивляться не может, легко таким манипулировать. Амфетамин каптагон напрочь убил жалость, а выносливость – как у бешеного волчары. И боксер Квичко под видом спортивных препаратов мешками возил на майдан психические стимуляторы американской армии. И дикая уверенность сразу, не надо отдыхать и спать, наступает предельный психический интенсив. Активно бодрствовать можно до четырех суток. «Ведь это же как долго может танцевать человек...» – удивлялся старый Явтух, когда увидал, как философ Хома Брут вытанцевывал после второй ночи сражения с нечистой силой. А эректус-правосек сам почти нечистая сила. Потому галлюцинации и бред – крайняя сила агрессии почти у каждого, кто оружием на Донбасс. Сам Бондаренко, что чуть не стал мэром Киева, признался, что в захваченной мэрии был цех по изготовлению наркотиков. Препараты массово раздавались в Одессе, когда стали сжигать людей.

Вот эректус неустойчиво вздыбился.

Даст забытье наркотик изнасилования, что было, что делали – провалилось в подсознательный погреб. Даже австрийскому доктору оттуда не вызволить. А если водки или чемергеса-самогона добавить, так никакой заботы, память теряется, сознание – космами сновидений. Жертва изнасилованная не может вспомнить, что было. Да ведь жестокость объяснить невозможно, как невозможно объяснить шизофрению. Расщепление сознания, все время в какой-то дикой непроясненной войне.

Схизис.

Я церковь сломал почти во всех богучарских местах. А в Старомеловатской казачьей слободе сейчас в храме грубая крупорушка – даже в святом алтаре не могут намолоть тонкой муки-валяцовки. Я активистом полез крест сшибать в Ширяевской слободе – сверзился сверху, будто крест стряхнул меня. И теперь храм топорщит к тверди ржавую звездицу – как раз мимо проехал. Но сейчас в мире с самим собой. И если бы не стреляли рядом, не тронулся бы навстречу войне по трассе «Дон».

И кто вслед посмотрит, кто дождется? Анна милая вознеслась куда-то в женскую глубину – о храме тела говорит в мировой сети всем подряд.

А как раз тут амазонки недалеко. Сарматов грек называл женоуправляемыми, а я жено-спасаемый. Нюра-Анюнечка, дай руку положить на твой теплый живот; как только что страшное – сразу спастись к Анне.

Но кто оттолкнул мою ладонь, не приняв прикосновение?

Они теперь уже совсем недалеко.

Кричат на всех площадях. Дайте танки! Американскую летальную зброю!

А ты послушай, признаюсь, пока хмеля нет. Не надо бы мне сразу себя демаскировать – сперва бы с тонким намеком: кто тут хочет хохла перехитрить? Но некуда деться, негде скрыться – каждый из всех черкасских переселенцев со мной несется сейчас в сторону Богу-чара, потом проселками на Славянск. Устремились братья-козаки в сторону от трассы «Дон» – к молодому-месяцу на войну поспеть.

Как раз с правой руки за курганами степь амазонская.

Сверну с трассы – дедок-козачок дохнет сбоку запахом страшного самосада, хоть души-сто добавлен донник-буркун. И все другие давние запахи с ним, сыромятицей-кожей пахнет, конями усталыми, от левого рукава несет дымным порохов. Руку жилистую вытянул перед собой.

– Во-он... девки-мазонки! Думаешь, перевелись? Чертовки!

– Все по образу, да не все подобия. Еректусы есть, дед!

– Зря не майданствуй! Бог... для всех.

И сразу от степной гари потянет свежим смрадом, от пруда на Лысой горе пар полднев-ный, в мареве ясно вижу – летят по гребню ерика яркие амазонские девы.

Табуном бешеным бабьим налетят сейчас на одомашненных обывателей – только пыль через минуту останется, смрад пожара и капли схваченной пылью крови. Страна амазонок всегда на своем месте, поселения навечно в донских пределах.

«Почему война?» – спросил аналитик. Да потому, что таковы люди.

Сармат был тот же хохол – понимал самец, что вся ярость и жизнь в женщине. И рожать могла – сама найдет оплодотворителя, ненужных всех истребит.

Ради себя самой.

– Страшно теперь развелись... Мазонки! – говорит старый.

– Где? – чуть скошу глаза мимо майдана в степь.

– Не туда... – направляет сзади за ухо, как телка к вымени. – Во-он! – показал на Лысую гору.

– Не вижу.

– А на нюх!

Сразу от степной гари потянуло смрадом горячей резины. Бутылки с ярым пойлом для огня, чтоб до костей. Не прорастет воронец-тюльпан, железо в подземных водах вытекло крас-ным током, конская сбруя сотлела.

Нет более амазонок, остались одни безгрешные целки-националки.

И за всю угнетенную при амазонках жизнь мужчинка теперь мстец. Есть жинки в укра-инской мове, есть чоловики! Начал по-мужски, а пошло без разбора.

Ничього не робэ.

Ничього не робэ!

А до дому прийдэ —

Жинку бье!

Загудел старый нутром-бандурой: попили амазонки кровцы из мужских черепов. Кастри-ровали, выставляли головы убитых на шестках, скальпы вешали на уздечки – в войне круглый год. А весной на два полнолуния призывали, как лягушиных самцов на время теплой воды. И теперь своих за добычей погнали на работягу-Донбасс.

Кровь нашу из черепков наших пили, теперь мы над вами!

– Дедок, – говорю, – то совсем не наш обычай. Не наша, дедушка, справа! Разместили амазонок книжники недалеко тут на Нижнем Дону, следы могучих хозяек нашли на Верхнем

Дону! Остались захоронения воинов-женщин – особенно много следов на реке Потудань. И все, кто по своим делам пересекали наши места пятьсот лет назад, удивлялись больше всего светлости попадавшихся на пути воительниц-женщин.

– Как по писаному! А Баба-яга?

– Да воюют-то ради денег!

– В полдень их видно! – берет старик сзади за оба уха и потянул вверх. Чтоб глаза стали ясней видеть. – Совсем все мазонки стали... войны хотят!

Но те, что летели меж верхом и низом марева, уж давно приручены – бьются в купности с мужьями против Аврелиана Цесаря. За готами или сарматами – стали готяныни или сарматыняни, амазоняны обошли потом всю Асию, под иго взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персиду. Построили многие грады, каланчи и крепости крепчайшие. Состроили два града славных – Смирну и Ефес.

– Дедок, хочешь сбrehнуть? Я был в Эфесе!

– А за что теперь воевать? Сбреши лучше!

В раскаленном июльском Эфесе, от которого отстрилилось море на восемь верст, я вышел на середину театра. Редкие пестрые зрители на каменных скамьях, японцы внизу фотографировали без остановок.

Из самого центра снизу закричал любимое богучарскими козаками.

Ой, мороз, мороз, не морозь меня!

Солнце накаливало лица и плечи смещенных прямоносых богов.

Не морозь меня, моего коня.

Японцы, похожие на степняков, никого не подпускали к греческим чудесам.

Отступившее море блестело издалека.

И цари греческие, устранившиеся силы амазонския, снова выслали противу их Ираклия, славнейшего воеводу оных времен. Потом же пришли амазоняны в помощь троянам противу греков, под правительством Пантезилии. И пребывали тверды в державстве своем даже до времен Александра Великого. Кинана Македоняныня, также была наша славяныня. И сестра Александра Великого водила воинство, билася с неприятелями и убила своею рукою Карию, царицу Иллирическую.

Юлия политическая вещует, чтоб атомом по москалям ударить! Ровно уложена коса на голове у панночки.

Пожалей меня – напои коня! Красной лампочкой замигала японская, в двести двадцать сил повозка без лошадей.

Бензин кончается.

А где брать бензин братьям-поселянам, чтоб в подступающей осени поднять зябь? И где сами поля в ямах от снарядов?

И где солярка? – До осенней вспашки еще надо дожить.

Амазонки от рева ярого навстречу – накрывает батарея установок залпового огня квадрат за квадратом, – попридержали коней. Где-то тут навсегда остались – выстроились их крепости и города, которых у кочевых скифов никогда ранее не было. Тут оборонительные валы, тут женские погребения с оружием и лошадьми. В царском кургане под Липецком индо-иранские атрибуты – фигурки золотых оленей совершенно схожи с изображениями на «оленных камнях» кургана Арджан в Туве.

– Дед Цицарка, я про все это давно читал!

– А сам бачив?

- Нет, не видел.
- Скажи: бачив!
- Бачив!
- А чего ж не пособачив?

Не заскочил кобельком сверху на строчку – поза естественная, нюх природный, собачья свадьба не прекратится до века. И не понял из прочитанного, что тут может быть. Поверить не мог, что пойдет брат на брата. А батальон «Айдар» уже приравнен к участникам мировой войны – наваливаются давно не мытым скопом на дивчинку, что пряталась в сарае, где последняя пара кроликов опасно красными взглядами мерцает из клетки. Сперва водки пол-литра в себя, потом пару наскоро ободранных ушастых в себя – одна психотическая бесконечная справа.

Насиловать и жрать.

Анна милая, где ты?

Только бы о собачках верных, что по следу, потолковать – побрел по степным страницам вслед амазонкам, – всухомятку сжевал переплет книжки анекдотов. Смотрю в лицо старому, как в зеркало.

А ты не верь.

И сейчас, богучарский хохол, не верь никому. Ты знай только то, что знаешь. И живи тем, чем живешь.

Вот подставлена снизу ладонь с мукой – свежая вальцовочная белая, невиданная панская, тепло вытекла из желобка.

– Хорошо пахнет мука? Понюхай, сынок!

– Сейчас!

Наклонился доверчиво Минька.

Бьет снизу ладонь.

Слезы из забитых мукой глаз... задохнулся в слезах. Ударил батько! Заливает глаза, тесто соленое на ресницах и на щеках.

– Ударил!

– А ты никому не верь!

Чтоб знал, что нельзя никому до конца верить ни на один миг. Не амазонка с ножиком, так другой подстережет – хоть словом, хоть ломом, хоть ладонью в доверчиво подставленные ноздри.

Не будь доверчив, а то пойдешь. Орать будут вслед: байстрюк! Будто даже не от своего рожден, от какого-то издалека забредшего итальянца-солдата.

Байстрюк... урюк!

Хохол любит кончить, чтоб в рифму; думает, заново каждый раз сам собой сложится конец: лишь бы наживить дырочку – потом пойдет.

Дело самца перенес на словца.

И впрямь бы по следу собакой, хоть следы запутаны, да еще сам себя сбиваю – вот сейчас увидал следы кострищ, слышал рев.

Жеребца холостят.

И сразу с ним заодно в рабское существо мерина – в потную под сбруей шкуру, в тягло, в привычку – выхолощенное существование. Лучше псом охотничьим по следу, по запаху, по заброшенному давно окликанию.

Деды были казаки, отцы – сыны казачьи! А мы?

– Пособачу, дед, пособачу!

Лучше по своему следу, чем совсем беспутно. Но уж если два раза козак о себе пособачил, так это уж полная зрада. Наклонись – понюхай в ладони муку, ударю снизу. И когда вздернешь лицо в слезах, сквозь мгновенно вспухнувшее тесто на ресницах различишь древ-

них всадников – ни мужчин, ни женщин. Какие-то одинаковые бесполое древние люди – хотят войны и власти.

Но обиду, напомнил Гоголь, козак никогда не должен прощать никому.

И пожаловаться можно только один раз, когда со случайной милой. В мартовской ночи сазан бьет на реке, мельница внутри в паутине и мучной пыли, снаружи лишь малым огнем в окне различима.

А в темноте на подводе двое. И до смерти хочется раствориться друг в друге – почти по-рыбьи, по-птичьи. По ангельски лица белеют в темноте рядом, горячие в случайной нежности встречи.

Нюрочка, обними меня!

Готова была хоть с амазонками полуголыми быть в подругах, раз своего ухажера нет. А сейчас высветилось в предутрии неведомое лицо... мука горячая струится по выглаженному ясеновому желобку, молоки икру оплетают в нерасторжимом слиянии. Слюна легкая, горячая перетекает из одного в другого... тел нет, только одна плоть горячая. Сказано же: будут двое одна плоть.

А тут очередь подходит – мешок на крюк, чтоб мучица потекла по ляжкам желоба.

Нюрочка... Анна!

Лицо счастливое светится в мучной пыли... влажное лоно внизу под лаской. Так бы сбежала – берег даже эту мучную пыль, что на ресницах одинаково оседает. А лучше замуж бы за него, чтоб всегда вечером и раночком вместе. Не прошел бы мимо ни разу, чтоб не коснуться плеча.

С Нюрочкой дорогой, Анной, Анюней!

Михаил на кушетке все имена ее назовет и свои выскажет на кушетке австрийскому душевному костоправу. Даже хотел позывной назвать, так расслабил вкрадчивый душевед. И будто бы выпрямился посреди разговора, как в той ночи, где мелет теперь мельница только в заполошных снах. Давно все хохлы местные о ней позабыли, а он помнит.

Так рядом навсегда Нюрочка.

Самое красивое женское имя? Конечно, Анна. Да только для тех, кого она любит.

А я через понтонную переправу, мимо пушек в Галиевке, где стояли итальянские альпийцы, дальше на трассу «Дон», сейчас будет Зверевое, потом Миллерово – туда совсем недавно заполз пьяный советский украинский танк.

«Хороший бензин? Гляди, лаборатория при мне!» – строюсь под богучарский язык. Откину полу кожанки, именно десантный автомат под плечом.

Качнется в сторону одуревший от испарений беженец-заправщик: «Хороший, хороший. У самого Ходарьковского отобрал!»

И опять кинусь вперед.

Но остановят сразу, когда сплошную линию на обгоне пересеку. В оправдание позвоню Дубакину-полковнику, командиру ростовского СОБРа – где-то молчит на войне. В Москву позвоню сокурснику генералу – он призовет к трубке командира патрульного батальона. И после переговоров старший прапорщик с капитаном почтительно проведут с воем сквозь узкое место – через час снова кинусь дальше по трассе «Дон». Надо бы налево, где пока не стреляют, а я направо. За патрульной машиной след был почти неуязвим, а теперь по осевой кидает навстречу черную фуру дагестанец-шофер.

Он хохлов не боится.

Он больше меня на сорок тонн – уходим вправо... у-уходим!

И вслед успешему отвернуть вправо от смерти глядит беспокойно оставленная Нюрочка, теперь уж за плечом, где повисло в зеркальце солнце. С амазонками готова в поход... шпагат в подсиненных синькой почти новых трусах затянут до следующей поездки на мельницу. И не знает, что скоро буду где-то совсем недалеко от нее на войне.

А пока только снюсь ей в предутрии амазонского сна.

Взял бы за руку, теплую от муки из плодотворящего желобка, пахнущую первым подснежником, поцеловал запястьице. И сразу бы поняла, что не тот с нею, что снится, а совсем другой. Тот рук не целовал, слов не знал, что я скажу. Но так любил нежно, что один остался в памяти. Еще ничего не знает Нюрочка про меня... никогда всего не узнает. Бываю с ней невидимо и неотделимо, на мельнице случайный любовник получил в дар без спроса.

Это она дала грудь, когда трехлетний рыдал без молока. Рядом белело в ведрах – хата становилась белой от меловой воды. И вдруг вышла с куклой безглазой Аннушка семи лет... опустила лялочку сарафана. И бедный нашел грудь и затих. А две взрослые онемели на миг, когда увидели – утешительница сама собой нашлась.

– Притих... молокан!

– Нюрочка, нянчишь? У кого научилась?

– Я видела.

И я теперь неотступно вижу. И слышу, как сазан бьет на Толучае – плеснул на икру молоками.

И снова на юго-восток, как раньше на запад. Я в польском Олыштыне изучал язык добровольцем строительного отряда, в Германии был на конференции памяти Чехова – чеховед чеховедом. На Родосе говорил о диалоге культуры – там почти все такие, как я, бывшие полковники. В Баденвайлере узнал, что Чехов сказал последнее по-немецки. Подал доктор-земляк на кушетку бокал шампанского, а пить хворому на чужбине, наверное, совсем неохота

Ich sterbe.

Дядько Антон Павлович, хохол на всех языках бессмертный? Вы же тоже из богучарских хохлов. Чеховых много лежит на кладбище слободы Красноселовка.

Отец на «студебеккере» в голове колонны догонял власовцев – гранату кинули из темноты... стеклянные крошки от разбитой фары ударили по глазам. Колесами дорогу ощупывал, чтоб отдалиться от места, где могут добить. Ничего не видел тогда, а передо мной были ровные полоски капусты на окраине Бадейвейлера... чернеет Шварцвальд, вот тут подают мясо с кровью и молодое вино. И шнапс! А лахтари-снайперы, что заседали кукушками на деревьях, теперь спустились на европейскую толерантную всетерпимость – ехал полусонно в теплом автобусе, голову беспечно задрал и отпил из бутылки шотландского теплого самогона.

А не надо бы всегда так беспечно.

Могут прицельно выстрелить из подствольника. Из ближайшей лесной полосы, где профессор Докучаев посадками окорачивал барханы и суховеи. Но остался беспокойный настоящий любовный страх. Вот плачет обо мне – ручку сухую я поцеловал перед дорогой.

– Прощай, дорогая, прощай.

– Минько! – по-старинному в звательном падеже. – Не забывай!

– Не забуду... Нюрочку давно видели?

– Да уж не помню... Про тебя спрашивала!

Прощай, моя дорогая. Вслух про свидание, вернусь, я вернусь, подожди меня, не умирай в построенной земством красной кирпичной школе – нынешнем доме для престарелых одних. Никогда для меня не умирай! Пока меня не будет, кто тебя так, как я, проведает? Половка прилетела, а зернышка нет.

Несусь вдоль сосен, желто-зеленая цистерна «Юкос» передо мной, керосин везут, чтоб залить сверху в лаз пещеры – дезиков выкурить? И я вдруг становлюсь страшный лишенец. И кто хочет меня всего лишить?

Чехов куда-то во всю степь смотрел.

И чувствовал: что-то с временем происходило – проваливались все времена в одну яму, струна со стоном лопалась: *Ich sterbe*. Да что вы, дорогой Антон Павлович! Дядько Антон! Не умирайте вдаль! Хай жинки поголосят на прощанье! Студент, что пошел на охоту в Страстную

пятницу, вернется домой со всеми в единстве дней. Рыжий казак, что ехал домой на льготу, захворал в пути в самое светлое время.

– Что у тебя, казачок, болит?

– Весь болю...

Не дала злая липецкая мешчанка кусочка святой паски! И пропал казак-ангел для всех москалей проезжих.

Сам Егорий святой тут на коне с серебряным стремечком. Все насельники из того, что написано про хохлов. Цыган-хитрован по-свойски рядом. Вишневые садочки цветут, и чайки рыбалят над нашими озерами – Чехов писал про нас.

Товарищ Андрей Платонов, когда котлован закончить предполагаете? Не вечно же рыть. Мы не в штате Алабама – ни к селу ни к городу речь грузчицы на почте.

Чевенгур... это же наш собственный Богучар.

Тверезый Михайло Михайлович уложен на кушетку в сеансе австрийской исповеди... бормочет про чеховского казака рыжего, что пропал со страницы. И про студента-семинариста, что почувствовал, как одна цепь соединила две страстные пятницы и концы цепи таинственно задрожали. И после сеанса личного анализа никакой черт гоголевский не страшен. Сейчас свои страшней, что чужих катают.

Но козак, как сказано, не должен ничего бояться.

Просил я Михайла Михайловича, чтоб меня к хитромудрым аналитикам записал: нет, говорит, ты не сможешь! А ты смог? Уложенный на кушетку сразу хохлом быть перестал: Михаил Михайлович! Миша, Миня... Минька маленький – будто бы из чужой утробы.

Лег хохол многобогатый... встал обученный москалик? Кто лег – был всем, кто встал – никем. Прямо поперек советского колхозного интернационала.

Пропала еще одна свободная вещь и вместе с ней вольный козак.

И чужие подводные лодки в портах родной Украины.

А меня неньке родной больше, наверно, не увидеть. Да кто меня вообще здесь видел, кто на меня еще хочет смотреть?

Пока был пионером, мама видела, отец на меня смотрел. А потом стал собираться, они еще не понимали, что навсегда. И хотели, чтоб из хохла стал русским, и жалели, что с ними быть перестану. А ведь я не из тех, кто бросал. Таких раньше почти совсем не бывало – из австрийского плена дед Окафий вернулся в высоких, шнурованных до колена ботинках. Онька из немецкого лагеря в Польше домой прибежал – пробежал мимо каждого, а потом кругами, – остановиться не мог. Когда дома помер, увидели под мышками маленькие жабры! А я будто бы самочинно определивший себя нынешний аутист – в глаза не смотрю, непонятно чем на всех обиженный, сам всегда против себя. Вот красную богучарскую роту веду в Петропавловку, мы тут определим революционный порядок... схоронился поп, что сигнал подал? Попадью шомполами по белому телу вслед моему кивку: не хотел сперва, а как красный рубец на толстом задку увидел, зверел с каждым замахом.

И под утро казачью полусотню кину на волость – к полудню выьем всех попавшихся краснопузых. А потом карательных красных матросов заману: складут винтовочки на подводу, – хлестну коников, останутся матросики с пустыми карманами в клешах. И навстречу из красного лозняка выскочит полусотня.

Подкрасить кровцой пески и супеси.

Потом мельницу-крупорушку установлю в алтаре церкви в Меловой. И мотористом в клубе-церкви в новых хромовых сапогах встану в очередь, чтобы глянуть картину – каждый домой несет мельчайшую мучную пыль алтаря. Вдруг Нюрочка горячая из давней ночи на мельнице не ко мне прильнет – толкну соседа, когда мимо пройдет, качнется назад, милиционеру наступит на передок хромового сапога, след подковки – как нарисованный. И сам в звании понятого ночью приду к соседу, когда его заберут, да милиционер тоже я. И тот, кого

забрали, – я сам, никогда не вернусь. Нет ни немцев, ни поляков, ни бандеровцев, ни чекистов со стороны – сам себя бросал, всегда буду бросать, я стеснялся своего хохлацкого выговора, уже не стесняюсь.

Мне сорок два года, и правлюсь я на войну.

А кто такой?

Скажу, что потомок казака Красноселовской слободы, третьей сотни, праправнук старшины Охрима – нет же детектора брехни, перед которым в сегодняшнем Киеве пытаются. Людям совсем уже не верят – скоро детектор щупальца будет запускать в ямку на шее, что у каждого хохла и каждой хохлушки. И некому железную немецкую лапку отбить. К дивчинам под вышиванку – по всему белому свету поехали долю шукать. Нельзя же ответить иллокутивным глаголом: поверь мне с брехливой ямкой на шее, скажу только одну сущую правду.

И чукча, которого я видал в поселке Марковский на Чукотке, смотрит на меня голубыми козачьими очами.

Я со всеми, и все со мною во мне.

И в тебе, Нюрочка... Анна по метрике!

4. Переселенец

Я переселился в верховья Дона всего двести четырнадцать лет назад. Говорят, что теперь хохлов нет, так и говорить теперь нельзя, а я есть. Куда деваться с земли моего языка?

В тех местах никакой Украины не существовало – ни вольной, ни невольной. Не знаю, долго ли помнили меня в прежних местах, я их не помню. Только старые названия перенес с собой да язык. Новые места поименовал старыми прозвищами – до тридцать третьего года изучал в школах неньку-мову.

Та цэ ж весна,
Бо танэ сніг,
Дывысь, струмок
С горы побіг.
Шумыть, гудэ
Веселый гай
И гомонить:
Вставай, вставай!

Русскими буквами опишу виршу. Куда течешь, струмок? От виршей осталась верша, по весне брошенная в озерцо, запрет в себе сома: выкрату усатого из соседской чужой верши и скрываться буду от соседей-братьев – Дмитро и Василь по фамилии Сомовы за своего сома долго мстецы.

А белые полки генерала Мамантова уже накрывают восставшие волости: та-да-да! Замолкли голоса пулеметной команды Богучарского полка. И казаки белые полетели – занесены каменно тяжелые руки с шашками! Теперь на дворе богатого москаля из татар шашку-подделку кручу в руке – смотрят два таджика-работника, как на перестарка чудного. Я с дочкой нового русского в прятки играл – сердце стучит, таджики улыбаются – русский сорокалетний чудной баранчук. Но давней тяжестью рука налилась, шашка-подделка юбилейной подлизой взвизгнет в руке.

Какие препоны руке с подвывшим клинком? Слово «суржик» обозначает меня. Суржик, субчик... супчик языковой бледный достался в наследство.

Повизгивает шашка в руке.

Я русский хохол.

Спитый чаёк частушек. Меня хохлом называют, а я русский по школе и по гражданству. Украинские слова песен для меня родные свои.

Автомат десантный из-под плеча покажу – я тоже боец хороший.

У меня жалость есть. Я выучился в Ленинградском университете имени мариупольского хохла Жданова. Я только в первом классе по-русски заговорил и не избавлюсь от хохлацкого выговора никогда. В моем первом прикосновенье к дивчине мычанье бессловесное да слова из советской кинокартины. Волю мычат на пашне голодным голосом, бугай ревет – землю гребет передней левой ногой, летит земля назад и вверх, ярится бугай – достать не может до влажного горячего лона телки.

И я ярюсь бугаем-двухлеткой. Души достать не могу, слов не хватает. И ее нутро надо ласково определить. Онегин сперва дивчиной Татьяной пренебрег, а она его потом на школьном русском языке бортанула. Я только во сне живу на природном своем.

А то, что от быка, не знает русского языка.

И если пролететь над Москвой ночью пятнадцатого года нового века, то засветит снизу море огней – кольцо садов райским огнем горит, на каждом дереве тысяча почек. Будто завис

литак в воздухе – так велика столица, но через десять минут полета тьма евразийская. Потом Клин осветится, потом Тверь, чуть взблеснет Вышний Волочек после Новгорода, потом Петербург почти по-скандинавски. Чуть освещены лампочкой Ильича площади Ленина в Богучаре, Павловске и Калаче – тьма амазонская затаилась на границах Дикого поля. А Петропавловка подмигнет недавнему брежневскому времени пятью огнями только до большого моста.

– Ты скажи мени, Штепсель, где конец свиту?

– Да это ж выдумка, Тарапунька, нет никакого конца света. Это ж средневековое мракобесие!

– Ни-ни! Конец свиту у районному центру Петропавловка, що в Воронежской области за велѣким мостом. Там конец свиту. Бильше ни одного фонаря нѣмае!

Тарапуньки и Штепселя тоже нет.

А тогда радовался местный хохол, что шуткой самого Тарапуньки по радио будто бы был задействован в великом преодолении тьмы. Теперь свободы и демократии полно – света нет. И Тарапуньки нѣма, чтоб еще раз гарно ответил уехавшему под конец жизни в Израиль хорошему артисту Штепселю.

Обманулись все, кроме первых. Куда правят в пятнадцатом году двадцать першого рока? Первому хохлу было легко – никто не стоял у него под окном, выкликая на водку. Будто бы сам собой потек, толкнула царская власть – пошел со стороны Черкасс, скрипели колеса, последние рубежные поселяне хмуру кивали лбами.

Прощайте, прощайте!

А раз с самого начала нехватка – идем воровать. Хохол может запросто украсть все, у самого хохла украсть не так просто. И мы с отцом в ночи идем воровать.

Идем воровать, мы не воры.

Вор украл у соседа – есть люди, которые не заснут, если не украсть: снимает Шурка Халупа старый валенок со своего собственного плетня, кидает соседу во двор, медленно ползком пробирается в чужие владения. Собачку днем прикормил, морду сажей вымазал – черт чертом: валенок свой хватъ! – Полез назад спокойно заснуть. Природный неутомимый вор не изменит себя никогда, есть целая воровская порода, есть удачливые, есть такие, что сразу попадутся. И тюрьма! А есть воры, что совсем не воры: за полтора килограмма жита – все четыре годики под казенны ходики!

И ни лечь, ни сесть в каменном мешке.

Законный вор – пойманный, попадется несун, расхититель советский – это русские в пустоте слова. От колхозной ямы ворами праведно возле школы на заборные столбцы на минуту пристраиваем мешки – и в голову мне не приходит, что в этой школе я научился читать про настоящих советских людей. Это правда для школы – для правильного ответа, а я неправдой наваленный мешок тащу по мартовской грязи, чтоб Марта была сыта. У нас самих украли что-то такое, что мы хотим вернуть себе и не можем.

С самого начала похищено у хохлов что-то самое главное.

Ненька-матушка любила тебя?

Воровство невидимо, мы сейчас неразличимы в ночи – только запах теплого силоса вместе с нами по полному хутору. Красть можно всегда, только правильно: крадут кавуны, крадут немножко пшенички в карманах, крадут-прикрадывают, чтоб незаметно. И всегда крали и будут красть. Я изначально обворован неведомо кем: кто желанно посмотрел на отца, когда он пришел с войны – вот она в красной косынке, вот он с командирской сумкой в руках читает газету. Нехватка – это природа, это такая тоска с рождения.

Что у хохла украдено со дня рождения? Еще раньше – с мига зачатия?

Что-то украли самое дорогое.

Введу штурмовик в боевой разворот – я учился в Качинском высшем военном училище летчиков. Я прицельно попадаю в мост и приеду героем: ас в чужом небе, мне все равно, кого

бомбить. А если за высыхающей Потуданью на цель наведут? Это селцо Скупая Потудань стоит на самой границе, сбросил бы бомбы рядом – сослагательная условность слов корява на слух. Сбросил бы – от бомбы не отстраниться. Я обыкновенная военная продающаяся смерть. Я всегда герой в каких-то чужих местах: я никогда не дома герой. Я дома героически не умираю и героически не живу.

И сейчас вспомню: животное не умирает – животное околевает.

Знаю, что ужас от обездоленности, но ведь обездоленность – просто лишение доброй счастливой доли, а доля бывает и несчастливой. Хохол будто бы давно все забыл – сейчас придут раскулачивать, сам пьяно качнусь вперед, чтоб раскулачить себя. Слово в обыденности даже лишилось приставки – осталось кулаченье, голый кулак. Пришли кулачить вшестером. Кто впереди космы выпустил из-под воротника? – Легкий реквизированного добра оранжевый кожушок. Уменьшительный суффикс – не принижение, а хитрая хватка. И в подбористом кожушке подбираюсь первым... кожушок вроде женский – уже бабой-активисткой стал? А ночью прибежал к этому дому – стукнул в окно. И вышел хозяин, дыханье к дыханью. Завтра придут тебя раскулачить, прячь все свое, дочку пошли на Дорошев хутор. Закопай жито, спрячь машинку-зингер в подкоп... лучше дочке отдай, чтоб на Дорошове зарыли. Завтра поволокут на правеж, кулак-враг, раскулачат тебя навек – в телегу кинут... Дочка старшая, Ганна, где? Взвоешь всеми бабыми голосами по шляху до Калача. И через семьдесят лет я своими глазами увижу твою новую родину и расчлененную церкву – синий, зеленый, прозрачный вид с холма за Архангельском, архангелам ясно видно. Чистый ясный весенний взгляд радуется красотам, а ты тут погибал, тут на красоте не посмел проклясть то, что все-таки создал Бог.

И я погибал с тобой.

Где Ганна?

Вот медленно, медленно, только медленно, иначе не успеть к своему ходу – медленно ползет арба, я впереди всех вола лобастого за налыгач веду. Цоб-цобе! Волы белолобые оба разом выпустили струи на пыль дороги – из стороны в сторону дергается след; след бычиной мочи нарисует всю мою будущую судьбу: болтает из края в край!

Из одного языка в другой.

Мы двинулись – позади родные черкасские и черниговские места, впереди диковая чужая местность, ни гати, ни моста, ни мельницы, ни церкви. Ни зеленого вишневого садочка: «Ой, у вишневому садочку, там соловейко щебетав!» Тут где-то будины и алазоны молились солнцу, от них не осталось ни дичка-яблоньки, ни колючей грушки. Вот солнце, которому молились, по их навсегда теперь мертвым молитвам жарит меня, солнце переживет все молитвы. Кто зарыт в наверх кургана первый – ужели тут схоронены демоны? Вставай, проклятый заклеменный! Вызван интернационалом и восстанешь, чтоб раскулачить, а потом огня высечь из удара белых по красным или красных по белым.

Где кремь... где кресало?

Интернационал одинаково закопает всех чужих и одинаково всех своих откопает – прежняя вольная степь вольно роилась тут до нашего тележного скрипа: восстанет всяк на всех, на всех. Не ушли никуда? Курганные земляки полночные и полуденные, я знаю, вы тут. Бабы ваши каменные стоят – нюрочки-палеолитки животы выставили, они еще нарожают.

Они всегда будут рожать.

Вавилон каменный выставился степным удом – не понять сразу: баба или мужик... Баба всенощно-вседневная, сама себя оплодотворяет. Не трогай такую ни в кой-раз! Притянутая трактором «Фордзон» под угол сруба баба каменная в полдень слепящий затрясла хату! Кошка взвыла, чуя близкую дикую, собака бросалась грызть камень, чувствуя над загривком живую дикую смерть.

Медленно вперед, только медленно. Рыдание остановит любую скорость. Медленней, медленней, медленней! Не успел на кушетку лечь – уже вскочил.

Hohol erektus.

И не изображай неутомимого... после армии без лычки – не хохол. Уехавший с хутора в университет и не ставший доцентом – плохой совсем хохол. Замедли скорость, пусть японский вороной плавно переведет шестерни автомата на неспешный ход – японцу какая корысть лететь стремительно по черноземным ухабам?

На неспешное – почти бездумное, как в опыте юрода.

Вот медленно видеть.

Вот медленно ползем навстречу. От аланов-сарматов остались дикие вечные поселенцы – по степу бродят в любой год в каждый час, катятся колючим клубком жабрия. Они вселиться могут в любого – безумный начнет стрелять, потом сам от себя кинется бежать без всякой тропки, кинется в речку, переплывет, в густом чакане схоронится на голодных шесть дней, будто воскресения ждет. Сам Христос для такого тронутого полднем беглеца будто бы нет-ничто. Богородицы-неньки нет, самого Бога не побоится, святой Микола – чок-намолчок. И повезут, когда поймают, – оттуда через четыре года выйдет дурачок дурачком, только за пчелами ходить – вытопчут весь разум в тюрьге.

Осталась навсегда степная вечная живность – ни на минуту не покидает, в нашу веру не верует. Обитателей той веры давно нет, а она с нашей по-свойски стакнулась и в каждом двошит.

Земляк чужой веры... землячка природная дорогая! Раз вы тут всегда обитали, куда вам деться? Из черкасских мест исторгнутый ползу по самому краю Дикого поля на двенадцати арбах в сорок восемь в железных ободьях колес.

Хорошо хоть она всегда со мной.

Милая моя... Ганна!

5. Старые, старые страхи

Вот курганы, посвященные солнцу: люди танцуют под солнцем или само светило медленно с востока на запад заигрывает с каждой росой? Если бы кочевники навсегда остались, некуда было бы перебраться мне. Но землю они почти не замечали, копытили чернозем, как степную желтую супесь. По любой почве неслись вдаль, любая была простой подстилкой для передвижения. Их боги кочевали за ними, ярые вперивались вперед, божества и демоны коротких остановок, тоже перемещаясь вслед. Всегда оказывались вовремя на новых местах и первыми занимали пространство.

Меж Хопром и Доном вблизи рек кочевники выставили курганы – мертвым тоже нужна вода. Вытекала из земли, а земля – место встречи. Курганы с любого места видны, перед курганом нужно всякому окорачивать бег – приложенному к земле уху лучше слышно, чем уху по ветру. Кочевники до времени не стремились в землю, они будто бы не умирали, неслись по земле, лишь на короткое время пресекаясь невидимой подземной жизнью в точках курганов. Их выжившее бронзовое и золотое зверье, найденное в раскопанных курганах, непонятно мне и сейчас. Но звериный стиль-взгляд говорит обо мне – звериной частью души я сам из звериного подземелья. Распластан на жесткой кушетке, существо самим собой обожествленное, но не совсем до конца. Зато простое кочевое зверье со мной овевьмачилось, оовлшебнилось, чуть что не выкрестилось. Я не боюсь: само по себе кочует, где-то ночует рядом. Днюет-горюет само по себе то следом, то запахом, то повадкой зверье кочевое со мной.

Зверье-живье.

Я сам часть в вечном чужом зверином, пусть бы жило и тешилось рядком на земле. Но оставленное кочевыми людьми теперь мстит мне, вселившись, не имея собственных воплощений. Они за Калачем и в Костенках в курганах звери золотоголовые, гривастые и рогатые. Лежат под стеклом найденные, под землей лежат, не поддаваясь грунтовым водам – ржа золота не тронет. Но все то зверье природное само по себе не страшно, гребень с рогатым туром и в нынешнее утро расчесывал бы черные косы степнячки.

Это было природное, кочевое, почти совсем прирученное зверье. И естество теряло только вместе со мной – я его гнал церковью, а оно потом вместе со мной полезло церкву ломать.

Вставай, проклятый заклеянный!

А когда пришел, сразу зверье черно потемнело – сейчас полезло своротить кресты с куполов. Оно сейчас сворачивает язык у лежащего на кушетке? Но у прошлых демонов была степь, молоко наливали в углубления каменных женщин, небо в молоке взблеснуло, потом выжег зной. А теперь за Северским Донцом стреляют без всяких природных знаков – потеряли небо и тело, хоть бы и каменную телесность. Сами окаменели, они ослепли – стреляют издали, им не нужны женщины – они не продолжают род, они простые насильники времени.

Медленно-мерно двигаются черкасские волы.

Я ничего не знаю о том, что было тут до меня, – хохла интересует только он сам.

А гот-арианин уже присмотрел обитание – от Дона до Дуная выстраивал могучую Готландию. Монахи в придонские меловые горы вкапывали знак веры, будто стремились к самим родникам. На берегах Донца и Дона в меловых пещерах поселился странный общинник. По Дивногорью и Белогорью до сих пор остались намоленные следы, ересь доживет до любой завтрашней веры. А общинники от больших рек уже спускаются по малым тихим – по Богучару, по Айдару и по Толучеевой вырыты пещеры.

И младшим братцем в девичьей компании вползаю в пещерку за хутором под горой: вот расширился ход, повернул налево... Лампа керосиновая светит позади меня, и страшно танцуют чужие тени. Тут скрывались непонятные вечные дезики, потом красные, потом белые, тут один итальянец пленный сидел. Нюрочка, говорят, приносила ему хлеба и молока. И дальше

вглубь по узкому ходу – пещерная церква, вот крест вырублен на стене, рядом еще кресты, выжженные свечкой, дальше провал, где в глубине колодец. Крикнуть в глубь – что ответит тот, кто тут спал на истлевшей траве?

Du bist Partisan? – Страшный чужой голос из угла, тяжело фуфайка вонючая мне на голову.

Partisan! Partisan! – Снизу схватил пятерней за колено и страшно сейчас вцепится в пах.

Ј-а-а! – Два голоса заревели на неведомом языке.

И согнулся к чужим коленям, замирая от боли в паху. Вслед девичий крик... смех двух хлопцев-парубков! – Навсегда заиканье и спотыканье в словах. И матушка никогда не простит тех, кто меня оставил с косноязыким страхом пещеры. А еще подумает, что на меня перешел ее собственный страх.

Четыре раза водили к Маланье-знахарке выливать переполох – резала над пупком чабрец овечьими ножницами, капала воском в миску с холодной водою – застывали в воде два черных уродца. И страх пропал – общинники-арианцы против всех прежних демонов уже выстроили церкви в меловых взлобках. И до сих дней остались изображения выкрашенных рыжей охрой крестов в пещере под Калачом.

Уже начинался пятый век евангельской веры.

Аланы на окраинах первыми столкнулись с дикими гуннами – я видел изображения в Венгрии. Летят на косматых конях, пригнулись к гривам. А в центре картины, где венгры обрезают новую родину, местные князья на коленях просят пощады; только одних женщин оставят жить. Вот покорили ирано-германцев, стала страна Лебедия на всем пространстве меж Хопром, Доном и Северским Донцом. Но, приучая места к постоянству, часть готов и аланов осталась жить на прежних местах по Дону и притокам.

И повезли с севера прозрачный золотой янтарь и меха, приставали к берегам караваны – с севера на юг и с юга на север. Осевшие бродники уже предуготовляли места для черкасских переселенцев. А тюркоязычная братия все еще рассекала по степи, рассеивая будущие названия и имена по чернозему: хазары, которым отмстил князь Олег, болгары, печенеги, кипчаки и голубоглазые татары оставили цепи курганов, их каменные изваяния теперь по-свойски одинаково названы.

Бабы.

«Да и не было никакой Киевской Руси!» – услышал вчера на выставке про Рюриковичей. Был Каганат Хазарский, и будущий град Киев звался Шабад. А когда ушли хазары, остались славяне – никаких украинцев в помине не было. Но названия мест, мимо которых сейчас лечу новым кочевником, быстро беременели жизнью под новыми именами: полноводную речку Толучай переименовали в Толучеевку, Калайчи – крепость у реки – станет Калачом, только Маныч до сей поры остается самим собою.

Как раз с Маныча богатого возвращаясь голодным и злым наемником-батраком, крикну проезжавшей барыньке – сама ловко правила легким возком помещица Анна. И от жары одуревший как раз в том месте, где ворон недавно мой бег пересек, крикну прямо в глаза.

– Шлях наш?

– Ваш...

– А под дубом дашь?

– Садись!

Схватился за выгнутое блестящее под солнцем крыло тарантаса. Не уследил быстрый взмах вишневого кнутовища – так хлестнула коней! Дернуло под колесо... переломает ребра шипованный обод! – Замелькала спицами шина бесконечная перед глазами. А сверху кнут ременный по плечам, по уху, по губам! Будто не тарантас с женщиной на кошме, а ступа с черными крыльями над красными ободами! Рук привороженных не оторвать... бежал, пока дух не упал. И на повороте не успокоила коня ведьма – бросило в сторону, покатился по пыли,

как сбитый баран, – ширинка дымилась от вскипевшей мочи! Схватился за горячую воняющую мотню – свой на месте, а нет ни плоти, ни яри.

Даже и сейчас сил нет крикнуть ей вслед.

Вступились за свою амазонские бабы! – Каменный живот каждая выставила обочь мужской побегежки. Холостят жеребца – обратят в мерина, барана превратят в валуха. Почему бы не выхолостить по-амазонски хоть одного несправедного самца? – На кушетку сам собой, а с кушетки обкорнанный.

Со шмайссерами со стороны Львова двинулись в сторону Богучара: шлях наш? А навстречу с кнутом и ножиком, чтобы холостить, хранящие эти места бабы. Хранят верные природные жены свои становища.

Карен.

Карандык.

Гирей.

Тут вместе встали в одной защите в крестах на въезде и выезде. Стоят лицом к каждому, хоть бледна вера при горячем степном солнце – обереги почти выгорели. Но огонь, схватывающий мужчину и женщину, неугасим. И когда умирали, живое и мертвое очищалось огнем: вот в день новолуния на двух стоящих рядом курганах, где на вершинах каменные тела, развели костры. Не боялись, что загорится степь. Ни домов в степи, ни построек, ни стожков сена, ни стерни после покоса. Воткнул старший воин два копия, между ними натянули пеньковую веревку. Пестрые лоскутки материи навесили на протянутую струну из жил.

Звучала одним тоном: ниже звук – смерть, выше – пока еще жизнь.

А у костров луногрудые молодые степнячки – каждую весну новая пара. Призывали всю степную живучую силу – с тонких темных пальцев летят в огонь брызги крови и молока. Сгущается молоко, как молозиво, темнеет, закипает, загустевает кровь. И сквозь огненные ворота проносят двух раненых, только тут от обжигающего лица огня оба почувствовали, что еще живы. Голова у каждого свешивалась на грудь. Ближайшие с каждой руки братья поднимали им головы. Так близко провели раненых от костра, что у всех одинаково закипает кровь. Потом гурты мычащие прогнали сквозь огненные ворота, от табуна затрепетали костры – огонь перелился в ревущий гон. Бубен, на огне подогретый, громыхал прирученным громом, и когда отдалился табун, люди и скотина, все живое и все мертвое соединились в одном огненном солнце – с востока могуче высвечивалась в рассвете степь.

Чего налить в каменную чашу языческой вечной бабе?

Молчит, ничего не просит. Серая каменюка угрюмая! То я на войне, то в борозде, то раскулачен, то сейчас в дороге в сторону недалеких боев: она непоколебимо стоит, никогда не распластается ни под кого, всех переживет, как степь, как жара. И ей не надо меня – спаренные курганные захоронения в Толучеевской степи оставили после себя тюрско-татарские племена, будто лучше всех понимали жизнь.

Вера всегда парной природы – голубка и голубь, бугай и корова, два кургана – один ей, а другой ему. «Молодой и молода... у ней цика руда!» – орут вслед молодоженам хохлята-октябрюта. И оглядывается пара. У молодой грудь девичья, бледный розовый сосочек потемнеет к беременному маю – немыслимо, чтоб молодая грудь показала, пока не кормит.

Зато переростка на первой улице села у Красного Яра уж по седьмому году прилюдно не отлучат. За плечо перекидывает мамка белую грудь – кормит Михайлушку.

– Тетка! Далеко до Меловой? – мимо едут и спрашивают.

– А я знаю?

И семилетний из-за плеча:

– До Старой или до Новой?

– Есть Старая и Новая?

Остановились – гомонят промеж собой.

– До Старой Меловой!

– Пятнадцать верст!

Долго не отворачивали головы проезжие козаки, потом сразу все закурили – на землю сплюнуть нельзя. Вырос, а сосет. Цицарка!

– Видишь? – отец из давнего дня спросил. – Сидит Цицарка!

И старый-престарый дед долго глядит на нас, не признав.

– Далёко до Старой Меловой, дед? – крикнул я, чтоб не на молчок.

– Двенадцать верст!

– А раньше было пятнадцать?

– Дорогу спрямили... кусок горы оторвали!

На войне цигарку слюнявил так, что на губах буквы газетные цинком синели. А пришел живой Цицарка! Так было на войне невыносимо, что к бабе каменной в степи прильнул бы желто-синими губами – к каменным соскам. Некому плеснуть в чашу – забелели бы обе груди живым молочком. Птички и ветер выпьют до капли, на целый день чуть побелеет дно чаши, и будто бы смягчится взгляд каменной бабы.

А ей все равно, что бьется вокруг.

Никто не в стыд, не в страх. Вся сплошного серого нераздельного цвета, будто бы даже свой собственный детородный орган есть.

Андрогин-идол.

До такого не додумались даже ярые амазонки. Молока плесну, сухой порошок бело-желтый размешал с теплой водой – будто только что подоена комолая корова, туда кусочек белого хлеба и полстакана вина красного. Да лопнуло вдруг ни с того ни с сего стекло, потекло вино вниз по ожившему животу... пока не высохнет на солнце, будут у каменной бабы настоящие лунные дни.

А хохлу лучше водки – с шестого стакана падает любой на кушетку, как подрубленный, между любимым и любимым для каменеющей пьяной встречи особой разницы нет. Стоит-молчит баба каменная – спирт из крепленого вина быстро испарился, краска на каменном лобке подсыхает, молоко искусственное в нагретой каменной чаше крупинками оседает – как семя пристаёт к родильному месту. И тогда ведром зеленой воды из солончака с размаху омыл бабе покрасневший живот. А уж ордынцы скачут – только успел присесть позади к вросшим в бурьян ножицам каменной степнячки. Ордынцы за живым в охоте, каменного не замечают, кроме человеческого товара, – курганы дикие стоят, как стояли: сами собой выперли из почвы.

Сами собой рассыплются в прах – в серый прах, когда накроет реактивный снаряд.

Грудь каменная... муравьи проточили сосок, обточенный всегда голодными ветрами. Неразличимая издали, а в ней вся степь, вся вязка природная. На грудь каменной девы можно долго смотреть, – равнодушный серый известняк доступней губам, чем грудь, от которой навсегда отлучили.

Где Анна?

Тебя Малороссия навсегда забыла тут, слободской казачок. И остался хохол хохлом на окраине бывшего Дикого поля. А там, откуда родом, наверно, сошли с ума, войной пошли на своих. В степи любое место даст пристанище, лишь бы тень да не грязь солончаковая, а на войне пристанища нигде нет. Там быют и попадают в любое место. Там каменная баба – простой ориентир для наводки, грудь правая на спор отстрелена девкой-снайпером. Желтая горчица каменной размоченной пыли на соске горечью отобьет каждого от груди.

И не давний чужой степняк у своей каменной бабы, а ты скрыл себя за каменными коленями, отбитый от мамки, как телок, как ягня, как жеребенок.

И как же ребенок?

На краю поля цветущего табака рядом с бочкой воды соломка настлана на сухой земле. Из соломы золотая подстилка-кушетка, в пеленках хохол полутора лет рыдает, а матери с того

конца поля не слышно. Потом разглядел зависшего над межой кобчика – сам бы крыльцами взмахнул, да спеленат плотно. Нет зеркальца смутного, чтоб в него глянуть, – только птица плетет батожок над головой да вдруг падает сверху на зазевавшуюся полевку. Взлетает вдоль над крайними бороздами. Только межа и небо сошлись перед глазами – нет другого зеркала. Через другого, что рядом, узнает себя, через голос и взгляд. И когда поймет, что сказать ничего не может, в полтора года казачок впадает в рыдание.

Конечность.

И смерть.

И не утешит, что каменные няньки стоят у дороги, день светит или вечер хранит. Схвачена душа безъязычием, сам себя окликнуть не мог – мамка говорит на одном языке, и он на нем вслед лепечет. А когда вырастет – другой язык схватит, чтобы на нем говорил. Хохол брошен уж в полтора года – нет зеркала, чтобы безъязыкий сказал: рыдай, наткнувшись на каменный холодный сосок.

А в пределах неморгающего взгляда маревом по степи, безлико, не приближаясь, ордынцы на седлах вскользь прикипают взглядами. И каменную бабу объезжают, чуть тронув повод. И сосунка пока не взяли в седло – без мамки в степи сразу закипишь от жары.

Цицарка, сосешь свое?

Распалась Золотая Орда, божки навсегда откочевали. А те, что пришли с ногайцами, не укоренились ни по Дону, ни по Хопру. И вся толчучевская степь под наплывшей ногайской ордой и под крымчаками высвобождалась от всего постоянного, все будто бы сдвинулось с места и поплыло в кочевом мареве. Даже природным степным страхам совсем не осталось прибежищ. Страх прежний выветривался, как лона каменных баб, – нечем и не от кого беречь, в плошку на груди никто не плеснет ни воды, ни молозива, ни самогона,

И никому не жаль заброшенных каменных веков.

Но то тут, то там задерживались ордынские казаки, нанимались в походы, рыбу ловили и торг вели; чего ты боишься на кушетке-степе, козаче, названный в честь самого архангела-архистратига?

Да ты боишься одного, всегда боялся и сейчас боишься.

Боишься того, что тебя бросят.

Ни войны, ни нечистой силы местной речной и степной, а с домашней умел ладить – любая соседка-ведьма рано иль поздно убиралась в свое ведьминное пустожитие. Ты неволи и плена боишься, вытянутый на нарах-кушетке. И так давно опрокинут, что даже забыл об истоках неволи и плена. Ты даже рад, что время от времени кидают тебя снова и снова – то в пыль придорожную, то в дешевую водку, то призывают в армию, где никто тебя не назовет теми словами, которые ты впервые услышал. И боишься, что привлекут твою дивчину чужими прельстительными речами, взамен всунут серую каменюку войны, будто бы ты брызгающий белым пометом орлан, а не мужчина с природным горячим семенем.

А с нераспознанным собственным грехом и страхом рядом стушевывалась великая Византия – отзвуки слышны, и всполохи вечерами видны. Золотая Орда покатила отрубленными головами – как на шее змея, вырастали последыши. Приблизилась жестокая польско-литовская власть. К Дону приблизились турки.

Москва казалась такой далекой, что почти не доходила до этих степей.

И Дон стал еще больше нужен всем. Видел его прошлым летом сначала в высокое половодье, а потом в бедной воде лета. Пароходик один прошел, самоходная баржа с углем. А тогда по берегам рассеяться спешил всяк своим семенем и чужой силой – Турция натравливала крымских, астраханских, казанских и кубанских татар, Польша подзуживала казацкое войско Украины – хотели сесть на все правобережные донские земли к югу от Воронежа до самой Ордынской границы. Но Москва давала войску казну и порох, пики казаки выставились против Крыма, против Кубани и против Турции. Границы совсем открылись, оставленные кочев-

никами каменные существа равнодушно смотрели, редкие дымы от сторожевых вышек уже не имели ничего от прежнего ярого, очищающего огня. Теперь пылали камышовые крыши, горела подожженная степняками степь в начале и в конце лета, полыхали камыши и рогоз... Птенцы обгорелые, не став на крыло, бежали, крыльца растопырив, над ними в криках вились пары, пока сами не падали в дым и огонь. Полыхал иногда весь край неба – каменным существам не было дела до того, что происходит у не признающих каменной святости чужаков.

А мы куда из черкасских мест... под набег и полон? Вот медленно на усталых волах – цоб-цобе! – волы и шага не прибавят в чужих бездомных местах.

Подстрекали турки ногайцев ходить за живым товаром, потом татары гнали пленных на Дон. Сплавливали совсем рядом вниз по реке к Азову и в Крым на невольничьи рынки по старым кочевым дорогам. Отряды русских служивых людей настигали караваны невольников – отбивали своих. И переселенцы черкасские уже со всеми на южной окраине строят пограничное войско.

Михайло-сотник в том войске.

И Гануса верная ждет.

Стремлюсь сейчас по трассе «Дон» – восемьсот сорок верст от Москвы, а впору в своих родных местах собирать заставы. Мелкими партиями просачиваются недобрые сквозь прозрачную границу со всех сторон – с Валуя, с Айдара, с Битюга, с Байгорда, – уже двадцать три года прозваны главной заставой на Москве-реке. И в пограничный отряд запишусь, а там промысловики-артельщики, принявшие русское подданство кочевники степей, бывшие ордынские казаки, донские бродники и много прочих гулящих людей. Еще не связанные, как теперь, с сельской пахотой и ремеслами. Невиданный на окраинах царь московский Иван Грозный уже давал распоряжение объединить разрозненные отряды южной окраины в единую общерусскую службу.

Недовольно глянул бы государь на тех, кто сейчас в Кремле.

Ведь уж четыреста сорок лет назад служивый люд из Данкова, Рязска и Шацка двинулся на опасный юг в Хопёрско-Донское пространство – реки, леса, холмы и прочие приметные места нанесены на карту под русскими именами. И странное дело – в самый раз под отправленье разведки в Толучеевскую степь подумаю: когда эти места подлинно говорили на своем собственном языке?

Ордынцы, степняки, несущиеся в страстной ярости амазонки – кто лучше всех выговорил и заговорил места?

Есть самый близкий к праотцу Адаму первотолмач?

Когда еще не могло быть ни лишних слов, ни брани, ни бормотанья – первоначальник не имел времени для лишних слов. К старости уменьшаются словеса, как бы прижались к тому, что есть. А что есть? – Вот день, вот вечер... будет утро? Коровы в неспешной пыли на улице хутора, голоса окликающие стихают. На черной немецкой машине проехал главный предприниматель. Следом помощники: днем спят, а ночью предпринимают.

Свой человек у своих для себя свою землю купил.

Жалеть, приноравливаться к собственному началу – остается то, что можно только жалеть: мои лошадки, мой пастушок! Жизнюшка прошла! И последнюю отбирают – из подвала на свет в городе Счастье живым выползти.

Табун из степи прогнали двое атарщиков – земля гудит. Жеребчики мои, кобылки! Пока скачете легко... кому на войне погибнуть, кому состариться в борозде.

Все кончится вместе со мной, бабы каменные стоят.

Страх смерти вплыл вместе с монахами-греками – по Дону пошел против течения по средним и малым рекам. Толучеева, Девица, Потудань, Тамлык до самых истоков наполнились всепроникающим представлением о кочевье по жизни. А рыба нерестилась, бобры трудились,

волки яро плодились, наполнялись норы лисятами, орлы и кобчики наблюдали за любым мелким движением на почве – ничего будто бы не изменилось.

Но все стало другим.

Страшил не грозный на кушетке неназванный танатос – без него на краю земли все знали, что в степи живут смертные. С греками-монахами прошла другая сила. Где-то совсем рядом святой Андрий со свитком в руках проплыл – каменные бабы остались на своих местах, курганы не тронулись. Чужие боги никуда не делись, даже добавились те, что прикочевали с татарами.

Но все как-то стали равняться под невидимое святое.

Прошли греки по Дону к Дивногорью, подивились, что так похожи места на их первую родину. Добавились новые имена и слова, вслушиваюсь в греко-тюркские оклики. Не я эти места окликаю, а они меня. И чем ближе к истоку, тем дольше будто бы жив насельник. Вот странный пересыпающийся звук камушков и песка... запах табака из борозд переползает в природную степь. Старый Цицарка на лавочке под своим двором одним словом жалел все – всякую траву и жабрий-колючку, вонючего хорька, что в одну ночь перерезал квохчущий курятник. Вредную природу жалел, потому что в жизни кончавшейся уравнивал всех.

А уж качнулся русский сторожевой отряд в Толучееву степь – как раз приедем черкасам передают местные казаки и татарские проводники названия балок, яров, байраков, водоемов, курганов, дорог и приметных мест. Поскреби хорошо своего татарина и найдешь степного русского. Курганы-могильники не стоят безъязыкими, на карте рождается местная повесть с казацко-татарскими говорящими названиями: Толучай, Кичка, Карандык, Еланский шлях, Калайчи, Гирей-Яр, Турецкие могилы.

А потом Карин-Яр, Арнаут, Третья дубрава, Калмыцкий брод, Кубрат, Острые вершины, Синий камень, Белая протока, Холодный Яр, Вислая гора, Суходол, Вербная балка, Рудокопы, Лебяжье озеро, Орлов лог – названий чуть ли не больше, чем обитающих тут людей. Казачьи летние хутора стоят вдоль Толучеевой – казаки сотника Михайлы ловили рыбу, охотились на дудаков, бортничали и умели выплавить руду. Так хватало всего, что не нужны были никакие другие пришлые. Степь многоименная была для всех и еще ничья: кочевые аулы татар к концу лета доходили до самого Тамбова, потом скатывались на Нижний Дон, Кубань и Маныч – тут до весны замирали дымящие голубым кизячным дымом стойбища. Но уже утверждался почтовый тракт – первыми желтевшие от выбитой травы озмейки дорог заметили с высоты коршуны и орлы, сразу качнулись дальше в степь от дымов и пылившей дороги. Разъезды служилых людей видели устойчивую нитку между Казанью и Крымом, непрерывно передвигались торговые караваны, гонцы, паломники, обозы и посланники – отставшие от обоза татары рассказали, что везут в Казань черепицу, и очень удивились, встретив на Толучеевой русских служивых людей.

Степь разъединяла и соединяла, а присланный для разведки служивый люд отмечал, что казаки местные хоть считают себя веры Христовой, однако почитают камни, лесные рощи и водоемы, крестятся солнцу, кланяются луне и различным созвездиям на небе, вместе с крестами носят амулеты, на уши надевают серьги, заплетают косы. Чувствуют себя со всем живым заодно – молодые девки одесские, что разливают по стеклянным бутылкам горючую смесь, будто бы не совсем человеческой природы. Одежду местные люди носили татарскую, черкесскую, польскую. Венчались местные люди легко и просто – выбранный из местных служитель обвязал руки молодых полотенцем и заставил их пройти три раза вокруг вербы на берегу водоема. Скрывались под ее ветвями молодые с той стороны, где ветви касались воды, прошли по самому краю след в след – вышли с высокой другой стороны будто бы из-под неба.

Четыреста сорок лет – восемь с небольшим поколений, служба сторожевая идет трудно, и служивская жизнь коротка.

На Донском перелазе у Вёшинской, у Телермановой дубравы на Хопру и на реке Оскол у Белого Яра встали три сторожевые заставы охранять всю необъятную местность. Почти по

три сотни служивых постоянно были в разъездах. Молились разным богам, татары со степи молились своим, общее благодаренье разными голосами поднималось к небу от земли, почти одинаковыми словами окликало невидимую степную божественную живность.

И кровь была одинаково взбучена скачкой и яростью боя.

Но только местные понимали все голоса, даже чисто русская московская речь казалась им голосами пришлых. По их настоянью Вёшинскую заставу вскоре переместили к Дивным горам в район Воронежа. Солнце светило, вода была в своих берегах, белые горы стояли на своих местах – братавшиеся боги на своей земле под разными именами хранили места. Кочевали по степи ногайские татары и калмыки, в переметных сумах возили свою утварь, своими ножами рассекали добытых на охоте животных, пили в три глотка горячую кипящую кровь. Татары вторгались за добычей, калмыки выкуривались из степи, как смерчи, со всех своих сторон. А редкие хутора казаков и промысловиков-артельщиков уже встали на своих местах у рек на вершинах утесов.

Почти на каждом месте в том или ином дне вспыхивали бои.

От убитой птицы оставались перья из крыл, колеблемые ветром, будто полет не кончен, от зверя оставались кости, от прежних богов остались каменные бабы в наверхиях курганов – от людей не оставалось почти ничего. Но где-то в глубинах того, что позже австрийский доктор назовет бессознательным – что вспомнил Михайло Михайлович на кушетке у аналитика? – осталось неизменное из самого детства, оно еще держит.

Есть еще те, что готовы за свое под огонь.

А уже спокойнее становилось – выстраивалась засечная черта от Тамбова до Ахтырки. Места кочевий чернели кострищами за чертой, но все больше бледнели и зарастали травами. Славянское население, не имея ни легкой степной конницы, ни умения мгновенно напасть и уйти, продвигалось медленно, но продвигалось так, будто шло к себе домой, чтоб потом никуда не уйти. И почти неощутимая засечная черта выстраивалась с северо-востока на юго-запад, почти совпадая с южными границами Рязанского княжества и восточными границами Черниговского княжества. Степь так преображалась, будто бы из нее самой вырастала новая жизнь, и эту никогда не виданную здесь жизнь можно было увидеть воочию. К ней можно прикоснуться взглядом... можно поджечь с разных концов, но она восстановит себя, как весеннее естество. Об эту очевидность ударялись не знавшие удержу татарские отряды – неостановимое ранее течение по степи останавливалось перед преградой. И не признающий границ степной взгляд будто бы замутневал от препятствий.

Крепости и остроги, земляные валы, засеки и надолбы тоже вырастали будто сами собой, но чужды степной свободе, – десятки тысяч не знавших кочевья людей собирались в одних местах. Как муравьи или пчелы жили для того, чтобы собраться в один муравейник или общим гудом живущий рой. Какой-то родовой инстинкт сбивал их в кучу, вместо курганов они сами становились возвышением над степью. И ясно, что без какого-то особого некоего бога создаться такое никогда бы не смогло, но и сам он не мог быть создан никем из людей и никаким сообществом – они создавались по родству с ним одним.

И эти новые пчелы и муравьи стали лепить соты и возвышать муравейники – простой бумагой учреждалась власть. Земельные угодья стали возникать даже за сторожевой чертой по Хопру, Битюгу, Икорцу, Толучеевой, Осереде, Елани, Токаю и Хаве. Ничьи прежде вольные реки отдавались в аренду служивым людям в качестве платы за службу на черте, даже названия рек по-женски подлаживались под новых людей. Эти места вылепливались странно; может, и другие так, но эти уж совсем странно: живое человеческое до этого существовало как бы само по себе. Власть хотела быть как сама жизнь, а жизнь в самой себе ясно говорила. Но теперь пришло что-то такое, что жизни самой по себе не признавало – подламывало под себя, все прежнее вольное теперь начинало новой силе вольно или невольно служить и прислуживать.

Больше не было вольной жизни самой по себе, когда людей столько, сколько властей. Теперь один могучий язык перекрывал своим гулом все другие наречья.

И среди прочих только редкий-редкий хохол будто бы еще сопротивлялся.

Но тут же грозили.

Михайло малый! – Тут для тебя кушетка, знай свое гнездо. И с тобой рядом хохлы Окафий, Покуда, Тарасенко, Кыч, Мыголка, три Охрима – кривой, глухой и хрипливый, Грякало-сотник, Пуд, Пузык, Сом, Несторенко, Кукуричка, Охремка, Левый, Убий-батько, Будюк, Рипка, Улезько, Кучмас, Халупа, Кич и Красюк! У Пузыка своя музыка, у Миголки бас слышно аж до нас! А Охримец-сын со святой книгой не расстаётся. На ярмарку с ней в руках перед собой. И зачитался, болезный!

А ты не отходи сам от себя далеко.

Далеко не забредай в степь... не трогай чужого бога.

Вот слобода Черкасская Гвоздёвка и слобода Ендовицы забелели хатами под камышом, вслед города-крепости Землянск и Оскол, войсковые сотни стали в Талице, Олыме, Чернаве, Короче, Быстрице, Девице и Стрелице, потом в Олышанах, Ливнах, Усерди, Урыве и Полатове! И никого не интересует, что было тут раньше.

Надо жить, земля служит тому, кто служит ей. И если бы была книга, в которой написана вся прежняя правда, ее просто разорвали бы, не понимая. И только теперь листы оборвыша станут искать по степи. Но нет первокниги, наверное, она бы приписывала существованию какую-то одну неизменную правоту. А места постоянно меняются – одни жили, потом другие, потом все со всеми. И если каждый потащит свою правду наверх, а правду других на правез?

Сплетаются и расплетаются плетки власти, переплелись узоры на рушнике, перелились друг в друга названия. Не подверстать ни под степную силу, ни под советскую власть, ни под чужой язык.

И книги доверенной никакой нет. В одном только сходятся: время божественное, а пространство человеческое. Да демоном время источено – единого нет, а за пространство бьются с пришельцами насмерть.

Из нынешней Украины хохла приманивают... в армии служить всего один год. Там считают, что со всеми насельниками степи я на их земле. Хохлов в сторожевых городках всегда было больше, чем русских. И члены братства «Черный крест» уже требуют возврата земли – собираются залучить вместе с Кубанью и Брянском всю ту степь, где каменные боги не собираются менять места. А ведь у Богдана Хмельницкого только и были земли, что теперь Кировоградская и Днепропетровская области. А потом русские цари одарили местами за двести шестьдесят три года – там теперь Волынская и Ровенская области, Тернопольская и Хмельницкая, Житомирская и Винницкая, сама Киевская и еще Черкасская, Черниговская, Полтавская и Сумская. Ленин отдал Харьковскую область, Луганскую, Донецкую и Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую – в награду камнепад памятников. А уж Сталин всем вслед Львовскую отдал, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую.

Доросла Украина до хрущевского дара – Никита вручил Крым.

А он и так был на карте, изданной в Австрии в 1918 году. На ней в состав Украинской республики входят Крым и Кубань, часть Ростовской области и почти полностью Курская и Воронежская области, включая Воронеж. Австро-Венгрия в карты вбросила большие имперские козыри. И тогда Центральная Рада потребовала от России Черноморскую и Ставропольскую губернии в полном составе. А еще Кубань и Крым, Таганрогский округ, четыре уезда Воронежской и один уезд Курской губерний.

Сейчас и ехать было бы незачем – воевал бы сам с собой в собственном Богучарском уезде.

Слободская Украина сложилась еще в XVII веке на территории современной Харьковской области. А также входили в нее части Сумской, Донецкой, Луганской областей Украины,

Белгородской, Курской и Воронежской областей России. Вели украинцы свою войну против Польши. И украинские беженцы, спасаясь от польских властей, переселялись на эти плодородные земли.

Я будто бы везде, и меня нигде нет.

Будто бы нужен всем, а сам меж всеми почти невидим. И вот уже вывернул на дорогу, что на войну – завтра к утру буду на месте. Анну дорогую встречу, знаю же, что она будет там, где я. Уже мелькнула в новостях один раз – переводила немецкому полковнику слова казачьего атамана.

Дождешься, Аненька, чтоб перевести меня? И спасибо земляку из Коростеня, что на кушетку уложил и спросил.

Кушетку вместе со мной населили казаки древнего и высокого происхождения, о них раньше слыхом не слышал: то беглецы из княжества Курского, то неведомые коссахи, то у Константина Багрянородного казахи кавказские. Единственный, кто мог бы правду сказать, – сам Григорий Саввич Сковорода. Ничего не сказал, а знал же Птолемея, и Плиния, и Страбона. Персы говорили о бродниках – еще сейчас остались в двух-трех хуторах. Армяне всех из себя выводят, почти везде армянин-основатель, есть селенье Казаки. И старинный армянский крест-камень хачкар будто бы говорит о том, что казаки пошли оттуда на Дон. Пятьсот лет назад были тут бродники и червленоярцы – слобода Красносёловка названа по Красному яру.

Геть!

Иди отсюда, скажет любой хохол, кому надо прогнать чужого.

Геть! – Удаляйся, спасайся, тикай-беги. А еще было военное сословие гетов, всегда готовое идти вперед – веровали воины в вечно струящиеся воды. И казачьи предки рассажены во всех землях, казачий воинский этнос присутствовал среди ассирийцев и египтян. Ведь навсегда сохранилось древнее слово «крейда» – одинаково по-древнеиндийски, по-богучарски и по-немецки. Разведенным в воде мелом белят хаты – растворился чужим словом во всем, что побелено.

Рыдает Минька-найденыш, что не дают молока.

Брызги летят на платочки – в четыре руки белят две женщины. А бедный, прозванный молоканом, в богатых слезах. И соседская Нюрочка голову беленькую прижала к груди. Рыдающий ловил под шершавым выцветшим крепдешином, – поймал губами, прижался в слезах. Семи лет нянечка-ненька кормила двухлетнего его собственной слюной и слезами, но он не отстранялся и вздрагивал.

И кормилица не отстраняла рыдающего.

Кислого молочка принесла соседка. И беленький молокан пил из кружки, не отводил взгляда от Нюрочки-Ганны.

Она на него смотрела.

И чужой опасен всегда – застыл язык каменных баб, гомон и шепот урочищ... чужой крик чужих людей чужими словами, когда угоняли в полон. Нет тут ни конца, ни начала, такой кажется степь и такой вода – из Толучая в Дон, потом в море. На степь будто бы покрывало кинули из разных лоскутьев. И чтобы прикрыться, надо держать одеяло в руках целым. Тут будто бы уже поименовали – на степь-кушетку налегли невидимые силы всякого приходящего, голос каждого звучал вслух, слышимый каждый новым уложенным. Сами названия всегда оставались, их приходилось перетирать, обрубая чужую непонятность и невнятность. Но сами же названия склоняли к себе. Бродники, расселившиеся, татары, донские казаки поименовали места раньше, будто бы так явно захватили власть над ними и тайно над нами. И потому их присутствие огневое, полоняющее будто бы всегда первоначально. Первоназвавшее повсеместное слово то в гуле слышимое, то видимое, как баба на кургане, заставляло почувствовать, что в степи есть свой порядок – не всегда видимая сила. Она может стать властью, кочует по степи, но не достается навсегда даже самим кочевникам – им она далась не только в дар, но как тре-

бование жертвы. Самое слово, даже чужое, которое сопротивлялось речи, все равно говорило о силе большей, чем та, которую можно было установить. И сила была будто бы особого рода святостью – кто узнал о ней первым? Будто бы у гнавших в полон, лишенных всякой жалости и сострадания степняков было какое-то право на силу. А сопротивление их праву было собственным стремлением к святой силе.

И что тут держится, что осталось?

Ведь все пошли от особого рода людей силы. И силу можно применить всегда – на силу красных ответить белой. Но именно ее теперь будто бы не было.

За счет чего жить?

Тепло спасающее всегда рядом... руки навстречу, в своих руках теплые руки Анны.

Глаза закрыть, и ее грудь прикоснется к глазам.

6. Молитвы по краю

А привившийся на придонских землях козак будто бы ни в ком не нуждался и ни от кого не происходил. А от него происходили все. В других местах могло быть по-своему, но тут от первой недели творения уже жил такой человек. Его кровь и в самих степняках – казахах и кабардинцах, и в балкарцах, а еще раньше у этрусков и ассирийцев. А то, что местный житель умел править судами на большой воде, вовсе делало его варягом – не от степняков же научился водить корабли. Обитал в степи родовой человек, даже пришелец-хакас с Енисея тоже мог быть своим. Человек вечной границы мог делать то, чего не могли другие: они смотрели на себя через ближайшего соседа или врага, а придонский насельник говорил на всех языках сразу. Природный юрод-странник по суше или по морю всегда возвращался. Человек границы знал всех, никому не принадлежал – им одно время управляли монголы, но жил сам по себе. Славяне-бродники стояли у истоков Богучарки на Терешковском валу, хакасские изделия найдены в устьях Ведуги; со мной учился хакас Ивандай, я сразу почувствовал его своим. Жалко, больше никогда не встречались, но дорога от Красноярска в сторону хакасских озер, когда стоял на берегу Енисея, показалась почти своей.

И почти своими кажутся холмы Кипра и оливы на Родосе. Даже голубая и зеленая Галилея похожа на верхнедонские и толучеевские места. В монастыре Саввы Преосвященного над Кедром высоко стоит келья Иоанна Дамаскина – сухо и чисто в том месте, где выписан первый монастырский устав. А с той стороны Кедрона пещеры монахов в белой горе, внизу в потоке ржавеет остов опрокинувшейся машины. И сизые голубки с голубками воркуют друг с другом так, что я понимал.

Историк Никифор Калист писал, что святой апостол Андрей Первозванный с проповедью доходил до стран антропофагов и пустынь Скифии... По Дону сохранились древнехристианские пещеры в меловых скалах. В зиму можно скатиться до середины Толучеевки, где незамерзающая сарма над родником. И если не отвернуть лыжи, окажешься в черной декабрьской воде. Это как раз та пещера, где мне на голову кинули фуфайку под немецкий крик. И сейчас при спуске на ночной трассе гонится следом чужой голос из почти неразличимого пещерного лаза.

Лыжи из ясеня – гнется дерево, не ломается. Ясынок – дерево просило, чтоб не рубил. И всегда почему-то одна лыжа сохранит выгиб, а другая сухой щукой втыкается в наст. И если рвать от пещеры, чувствуя черное тепло за спиной, нужно вздергивать левую, как неуконька. Вечер сливается с черной водой, темнеет оледеневающая лыжня. Упал на спину – лыжи в стороны из ременных петель. Одна уперлась в сугроб, а другой нет.

Долго искать всем троим, дорога с горы почти не видна, кто-то спускается по ней с возом сена – уперся вилами в бок копне на саях. Кони осторожно вниз, оскальзываясь, еще один сзади идет, цепь-гальмо под полозьями корежит дорогу. Как спустят воз с тяжелой горы?

Вечер совсем темнеет... лыжи нет, лаза в пещеру совсем не видно, будто пещера все ближайшее накрывает черным нутром.

– Хлопцы, давайте молиться! – говорит старший Минька.

Двое других – ни да, ни нет. И признаться нельзя, и нельзя не верить.

На колени трое – три Михаила в одной молитве. И каждый будто бы странно ожил, протаял снег под коленями – шесть следков, прогретые молитвой.

– А как?

– Господи, Господи... помоги найти лыжу!

Самый младший сказал ясно. А другой молча кланялся – теперь он полковник Федеральной службы охраны. Наверное, я его встречу в ростовском Миллерове на самой границе. А тот, кто сказал, что надо молиться, давно умер по своей сбившейся воле.

Лыжа нашлась – конец торчал из-под наста совсем рядом. И покатались тихо втроем, уже страшно было подниматься еще раз высоко к пещере для разгона, почти неразличимой стала лыжня, река слилась с дорогой. Не видно моста. По темному склону взлобка вниз, поддерживая по привычке носок левой лыжи-шуки. Ключки соломы, принесенные ветром, схватывали скольжение – если бы спуск был сверху от самой пещеры, упал бы лицом вниз. Луг совсем темный, но не так страшно, как за рекой, где пещера в горе. Молитовка не нужна... шоркают лыжи по быллям конского щавеля, взгляд кидался на каждый шорох. А дома горела десятилитровая керосиновая лампа – светло и ласково.

– Так... как вы там, Михаил, молились? – отец спросил в сторону, будто не меня.

– Лыжу... искали.

– Ты мне религию оскорблять не смей.

Я не знал, что он знал это слово. И в первый раз назвал меня полным именем. И поверить не мог, что он тоже на войне молился, – солдаты, я думал, не молятся. Никогда не видел молящегося взрослого мужчину, кроме одного попа, что приезжал крестить. Церкви не было, я никогда не был в церкви, слышал, что в церкви пахнет каким-то дымом! В хутор поп молодой на легковой машине с деревянными коричнево-желтыми дверцами приезжал крестить детей. Взрослый ходил по кругу с малыши, непонятное говорил. Я подумал, как правильно мы молились про лыжу. И надел кепку – проходя мимо, он снял с меня и дал в руки. Молодой человек – не шофер, не пастух, не плотник, не учитель. Был странным тут, где поля, скотина, играла гармошка, иногда могла приключаться смерть – не страшно, когда совсем старая, всегда ужасная, когда молодая. То человека, что учился в Россоши, убили пряжкой со свинцовым наплавом, то девушка сгорала, когда вспыхивал ночной керосин, то привезли летчика, разбившегося в Польше.

Вера только и бывает странно-пещерная, – так думал, она скрывается, как дезертиры, что сидели в пещерах, их выкуривали и хватали, когда они выбирались через потайной ход на верх взлобка. Вполне хватает жизни обычной, в ней есть выходные, в праздники кино и футбол, из Германии солдаты привозят фонарики «Даймон». Но бабушка рассказывала о прекрасном Иосифе как о живом, его было жалко в начале, потом он всех побеждал. И длинноволосый Самсон всех побивал и только зря погибал геройски. Анания, Азария и Мисаил не сгорели в огне. Это были геройские люди, Конёк-горбунок при них, а Ивашек перехитрил ведьму. Святые спокойно темнели в темных углах темными ликами на образах, их помнили, как людей на фотографии. Только старые крестились, была Пасха – Великдень, яйца красили, зимой колядовали и щедровали, носили в мисочках кутью из пшеницы, которую толкли в ступе. И еще рядом существовал какой-то странный мир, не полуночный и не полуденный, не утренний и не ночной. Ведьмы часто шастали по ночам и редко в полдни, всегда домовый показывался перед событием... козаков остерегался, – налегал на женщину:дохнул теплым – к добру, холодным – к худу.

По степи бродили какие-то странные существа, вокруг них закручивались смерчи. Их было видно, а тех, кому молились, – не видно. Они будто бы расплодились и рассеялись в простых именах, Параскева святая почти невозможно слилась с дояркой Пашкой, сорок святых прилетали по весне, как жаворонки, которых соседка выпекала из пресного теста. Что-то почти непризнаваемое упорно существовало. В бывшей церкви Петра и Павла был РДК – Районный дом культуры, смешно пересмеянный редькой. И там пели, смотрели кино – длинная очередь перед сеансом посреди зала, и когда осталось совсем недолго ждать, централыцы вчетвером так ударили в спины, что она рассыпалась. Я упал, они уже стояли первыми у дверей, заняли потом лучшие места – все вместе переживали войну на белом полотне, где раньше были царские ворота и за ними алтарь.

Как раз на том месте, где упал, потом кружился в вальсе с учительницей французского языка Анной.

Упал на том месте, где когда-то крестили.

И странно: пока вера естественно жила собственной силой, она была тайной и теплой, а когда оформили по закону, будто бы лишилась чудесного обаяния. И теперь к жизненному и по прошлым временам умолимому пещерному естеству почти невозможно вернуться.

Апостол Андрий доплывал сюда – я миновал понтонную переправу через Дон. Апостол узнавал будто бы свои родные места. Вот же в Костомарове красавец-монастырь Донской Иерусалим золотым куполом возвещает, что сбылся сон. И две красные головы, как девушки, улыбаются – ты живой, есть любовь. Андрий, сын Прохора и Анастасьи, едет на конях, чуть кнутом взмахивает... куда спешить? Посмотри на места, которым кланялся первый Андрий. Но вход в пещеру совсем засыпали, чтоб не смущал зря. Ни святого креста в алтаре пещерного храма, ни колодца, где в глубине взблескивала живая вода. Тут в первых веках образовывалась древняя вера – на Дону в неведомых просвещенному миру местах уже жила легенда о царстве пресвитера Иоанна. А крест коричнево-красный был такой же точно, как в Риме, и в Палестине, и на Афоне. Крестоносцы считали, что неверных побеждает неизвестное им воинство с православными казачьими рыцарями веры. Но крестоносцы в чужих землях прямо перед собой видели противников веры, а на Дону все было зыбким – из степи выкуривалась пыль: то ли вихрь с черным, почти различимым бесом-беском в середине, то ли приближался в ужас вброшенный ночной грозой табун, то ли степняки намечались в скрывающем мареве. Не держались долго ни линия, ни постройка, ни жизнь. И поселенец посреди курганов-могильников, среди буераков, среди белых меловых взлобков, где божки и боги давних предшественников, одной собственной силой выправлял неровности. И сам призвал одну-единую силу, чтоб осветить все.

И будто бы общий вздох.

Но остались курганы, бабы каменногрудые со следами отдохавших на плечах птичек, с неувыдаемыми бедрами ждали оплодотворения и призора. И все ночное и черное, что могло в полдень вползти змеей в любой сон, древнее-черное никуда не делось, оно тоже ожидало признания. Будто даже к храмам приблизилось, не чуралось молитвы на своем, никем из новых поселенцев не слышанном степном языке. Новые насельники видели, что до них было много предшественников – оставили могилы, своих каменных рожениц. Горячие невыговариваемые кошмары теперь догоняют любого во сне, и не скрыться от них, не отбиться до самого утра, потом в полдень могут мелькнуть.

И чтобы привязать себя к месту, полковые казаки ставили монастыри в городках, донские казаки обустривали места, черкасские козаки обживали свои по Дону, по Тулучеевке, по Богучарке. И пьяный цыган середь бела дня в желтой шелковой рубахе, выпущенной на шаровары, идет по пыли: где тут в этой самой слободе Петропавловке была церква?

Вслух грешит против власти прямо напротив бородатого портрета на стене райкома – выпил крепко: «Да здравствует Керлю Мерлю... и конский базар три раза в неделю!»

Болтает рукавами, желто-серая пылюга на хромовых сапогах: никто не знает, какая правда на самом деле, но всякий знает, что правда цыганская есть. Одно слово вытеснено, жеребчиком краденым другое мелькнет. Сказал бы про Карла Маркса в своем таборе доверительно тихо, а то гудит всем. И все равно выскакивает совсем не то слово, что хочет сказать. И весь язык такая цыганская речь: хотел сказать, а как сказал – ясно, что хотел другое. Вытеснено одно, а вместо него неведомо кем украденное и скрытое. И речь, ты понимаешь, это говорение о том, что совсем невозможно. Хотел цыган сказать, что один-одинёнок бредет по улице из песка, – вышло про давно закрытую церкву: от святых Петра и Павла осталась только цыганская память. И получается, язык – брехня, собаки брешут, никто тут не говорит никакой правды, едут и идут мимо, косясь на цыгана в шелку, – а что толку с них?

И сейчас на переправе не о цыгане говорю и его полдневной тоске.

Анна ночует сейчас с другим... вот руку цыганистую тянет к ее нежному животу. Вырастет за словами в утренней полутьме имя неведомого – уже уплотняется в легком свете прибывающего утра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.